АКИ

# ЛАВКА В ЗАРЯДЬЕ

1

Aki Latus

# Лавка в Зарядье

«Автор»
2026

**Latus A.**

Лавка в Зарядье / A. Latus — «Автор», 2026

Бизнес-акула из XXI века против магии и средневековых законов рынка.Московский делец Павел Шумихин гибнет в авиакатастрофе, но вместо ада просыпается в теле семнадцатилетнего сироты Алексея Ремовского. Вокруг – не небоскрёбы, а Зарядье с его деревянными лавками, вонью дёгтя и опасными артефактами. В кармане – пара медяков, а на шее висит неподъёмный долг ростовщику. Через две недели лавку пустят с молотка, а местные хищники только и ждут, чтобы загрызть неопытного щенка.Но Шумихин не был бы акулой, если бы сдался. У него есть главное оружие – хватка переговорщика и редкий дар магической оценки, позволяющий видеть ценность любой вещи насквозь. Теперь его конкуренты – не олигархи, а жуликоватые скупщики и алчные менялы. Его активы – не акции, а глиняные свистульки и мутные кристаллы из Стигмы. Его сроки – дни, а не годы.Сможет ли московский делец обойти местных «акул» на их поле, превратить кучу хлама в капитал и не дать лавке сгореть? Или он навсегда останется нищим сиротой в мире?

© Latus A., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Аннотация 5
Глава 1. Конкуренты — сволочи 7
Глава 2. Вексель на дедово имя 13
Глава 3. Первая монета 19
Глава 4. Опись по акту 25
Глава 5. Тропа к артели 31
Глава 6. Улица делает счёт 37
Глава 7. Разговор не для улицы 43
Конец ознакомительного фрагмента. 49

# Лавка в Зарядье

## Аннотация

***Бизнес-акула из XXI века против магии и средневековых законов рынка.***

*Московский делец Павел Шумихин гибнет в авиакатастрофе, но вместо ада просыпается в теле семнадцатилетнего сироты Алексея Ремовского. Вокруг – не небоскрёбы, а Зарядье с его деревянными лавками, вонью дёгтя и опасными артефактами. В кармане – пара медяков, а на шее висит неподъёмный долг ростовщику. Через две недели лавку пустят с молотка, а местные хищники только и ждут, чтобы загрызть неопытного щенка.*

*Но Шумихин не был бы акулой, если бы сдался. У него есть главное оружие – хватка переговорщика и редкий дар магической оценки, позволяющий видеть ценность любой вещи насквозь. Теперь его конкуренты – не олигархи, а жуликоватые скупщики и алчные менялы. Его активы – не акции, а глиняные свистульки и мутные кристаллы из Стигмы. Его сроки – дни, а не годы.*

*Сможет ли московский делец обойти местных «акул» на их поле, превратить кучу хлама в капитал и не дать лавке сгореть? Или же он навсегда останется нищим сиротой в мире, где каждое обещание стоит серебра, а любая ошибка пахнет костром?*

АКИ
ЛАВКА
В ЗАРЯДЬЕ
1

# Глава 1. Конкуренты — сволочи

Грохот в кабине стоял такой, что приходилось орать в поролоновый шарик микрофона, вжимая его в губы. Я прижал гарнитуру ладонью к левому уху: дужка разболталась ещё над Барнаулом.

— По соляре закрываем через Омск! — кричал я в микрофон, глядя в мутный иллюминатор на голые серые вершины. — Толик, ты меня слышишь? Тридцать тысяч тонн! Не меньше!

Сквозь треск донеслись хлюпанье и мат. Толик сидел в тепле, в московском офисе на Павелецкой, и у него, судя по звуку, снова опрокинулся суп. Вечно он жрёт прямо там, за клавиатурой.

— На Забайкальск мы не пойдём! — перебил меня Костылев. Он сидел напротив, в кожаном кресле, вытянув ноги в заляпанных грязью туфлях. От Костылева пахло дрянным коньяком и кислым кофе из термоса. — На Забайкальске сейчас ростовские стоят, они за каждый тяжёлый экскаватор по две штуки баксов сверху просят. Мы на одной только пошлине в ноль выйдем.

— Ничего мы не прогорим, — я уставился на его правую туфлю. Носок разлезся по шву, видна была серая нитка. Возит с собой полмиллиона зеленью в кейсе, а обувь нормальную купить — жаба душит. — С таможней я сам перетер в прошлую пятницу. Серый обещал чистый коридор на три дня. Дадим ему тридцать тысяч, не больше, они же там в управлении совсем ошалели...

Костылев не ответил. Вместо ответа он полез в карман куртки, вытащил мятную конфету и стал долго разворачивать фольгу. Пальцы у него были короткие и толстые, в желтых табачных пятнах. Фольга шуршала прямо в микрофон гарнитуры.

— Серый твой вчера из Балашихи не вылезал, — пробурчал Костылев, заталкивая конфету за щеку и чавкая. — Мне Вадим звонил два часа назад. У Серого там третья дочка рожает, он в сопли пьяный. Никаких коридоров он тебе сейчас не откроет, ему не до твоих китайских погрузчиков.

— Откроет, — отрезал я. — Куда он денется. Деньги всем нужны.

Внизу, среди серых камней, мелькнула узкая речушка. Мелкая и извилистая, отсюда даже течения не видать, и никого вокруг на сотню километров. Если сойтись на пятнадцати процентах маржи с уральцами, к ноябрю мы заберём весь регион, задавим мелких перекупщиков на Зарядье... тьфу ты, при чем тут Зарядье, на авторынке в Мытищах... и выйдем на чистые пять миллионов.

— Вадиму скажи, чтоб рот завязал и не паниковал раньше времени, — проговорил я, поправляя наушник. — На следующей неделе первые восемь контейнеров пойдут через Манчжурию. Если китайцы упрутся по цене...

В левом иллюминаторе, прямо перед глазами, вспыхнуло. Не пламя даже, а белый отсвет, как от сварочной дуги у самого лица.

Ударило раньше, чем успел прийти звук. Вертолет мотнуло вбок с таким треском, будто по борту с размаху ударили рельсом. Подо мной тут же провалился пол. Костылев вылетел из своего кресла головой вперед, прямо на меня, но долететь не успел: крыша кабины вместе с ротором ушла куда-то вверх и в сторону, открыв серое небо.

Гарнитуру сорвало с головы в ту же секунду. Провод рванул за ухо так, что кожу обожгло, и из уха потекло теплое, а уши заложило наглухо, до звона. В развороченную кабину хлынул ледяной воздух, вонючий от палёной изоляции и керосина.

Меня потащило вниз вместе со скомканной железной обшивкой. Вертолет рассыпался в воздухе на куски, и слева медленно проплыл оторванный хвост в густом черном дыму. Мимо улетел кожаный подголовник.

Земля крутилась, уходя то вверх, то вниз. Серые скалы неслись навстречу со страшной скоростью.

Я пытался вдохнуть, но встречный ветер забивал рот, губы залепило чем-то мокрым и липким. Правая рука не слушалась — она просто болталась рядом, сломанная в локте, как пустой рукав пальто. Боль накрыла не сразу — сначала был только дикий звериный холод.

«Кто? — мелькнуло в голове, сбиваясь и путаясь с курсом юаня и невыплаченной страховкой. — Вадим? Нет, Вадим трус, он не решится... Тюменские? Они же вчера гарантировали...»

Скалы приближались. Я уже ясно видел отдельный острый валун — желтый, обросший сухим лишайником.

«Конкуренты, — успел подумать я. — Сволочи...»

Валун ударил прямо в лицо, и свет выключили.

Сначала вернулся звон — тонкий, сверлящий звон в ушах, и я попытался отмахнуться от него, как от мухи.

Вместо плотного взмаха вышло что-то дерганое и слабое, чужое. Рука оказалась дико легкой, будто в ней не осталось ни мышц, ни костей. Она задрожала в воздухе и бессильно упала обратно.

Вслед за звоном пришла боль — не глухой ушиб от ремня, а острая дрянь под левыми ребрами. Каждый вдох давался мне с трудом.

Я открыл глаза.

Ни белых плит потолка, ни плафонов реанимации, ни мятой обшивки вертолета на алтайских валунах.

Перед глазами плавал сизый дым, и пахло не керосином и не горелой изоляцией, а паленой овечьей шерстью и войлоком.

Под ребра впивались жесткие сосновые доски, засыпанные серой, еще теплой пылью.

Чуть впереди лежал обрушенный прилавок. Брус переломило пополам, а верхняя доска съехала в сторону. По всему полу блестели осколки — тонкое мутное стекло с зеленоватым отливом. Рядом валялся обугленный ящик с выбитой стенкой, из него вывалилось что-то черное и дымящееся.

«Авария, — попробовал я зацепиться за понятное. — Меня вытащили местные. Какая-нибудь скотская глушь под Горно-Алтайском, чабанская стоянка, старый сарай...»

Мысль не клеилась.

В чабанских сараях не бывает витринных стекол. И вертолет упал в скалах, на голом гольце, где до ближайшего жилья сорок километров по тайге. За пять секунд туда никакие местные не добегут, да и лавку с витриной там ставить негде.

«Кома, — подумал я снова, зло и сбивчиво. — Мозг поврежден от удара об камень. Сейчас лежит тело на столе у хирургов в Барнауле, а в башке крутится бредовая нарезка из детских воспоминаний или фильмов...»

Только боль под ребрами была слишком отчетливой для бреда. Она колола при каждом выдохе, будто в бок вбили гвоздь. И пыль в носу щекотала совсем по-настоящему.

Я поднес руки к самому лицу, чтобы протереть глаза и смахнуть эту серую гадость, и замер.

Это были не мои руки.

У Павла Геннадьевича Шумихина руки были другими. Широкая ладонь, плотные фаланги, аккуратный маникюр из хорошего салона на Тверской, гладкий шрам от кухонного

ножа на подушечке левого большого пальца и тяжелая золотая печатка, которую я не снимал лет пятнадцать.

А эти руки были тощие, с синюшной кожей, через которую проступали фиолетовые жилки. Никакой печатки на пальцах — только тугие волдыри на костяшках. Из рваных порезов на тыльной стороне ладони сочилась кровь, смешиваясь с сажей.

Пальцы задрожали еще сильнее, и я торопливо ткнулся ими себе в лицо.

Вместо привычных брылей, тяжелого подбородка и плотных щек сорокалетнего мужчины пальцы нащупали обтянутые сухой кожей острые скулы, впалые щеки и узкий срезанный подбородок в мягком редком пушке. Нащупали не жесткую щетину, которую я брил каждое утро, а детский пух.

Сердце заколотилось где-то у самого горла, часто и мелко.

— Что за... — попытался выговорить я, но из горла вырвался только сиплый шепот. Голос был не мой: не низкий баритон, которым я закрывал сделки, а тонкий, срывающийся на фальцет.

Я попытался сглотнуть, но сухой ком сажи в горле встал поперек, а руки все дрожали на коленях. Нет, это не кома: в коме не бывает такой вонючей пыли и такой боли.

Дверь лавки — точнее, то, что от нее осталось после взрыва, — с треском подалась внутрь. Из щелей в косяке посыпалась штукатурка.

В дверь ввалились трое. На них были серые суконные кафтаны с кожаными нашивками на плечах, а в руках они держали тяжелые потемневшие бердыши.

Первым шел десятник — плотный, широконосый мужик лет пятидесяти с обвисшими седыми усами. Родион Хвощ — имя само выплыло из чужой памяти. Он остановился на пороге, повел ноздрями и хрустнул пальцами.

— Ты что тут устроил, Ремовской? — пробасил десятник, переступая через отколовшийся кусок косяка. — Весь квартал Зарядья на уши поставил! На Нижних рядах Симеон Кутафьин из своей лавки выскочил, орет, будто басурмане пришли! Что за взрыв? Говори, пока я тебя в кутузку не упек.

Я попытался выпрямиться. В прошлой жизни, когда в мой кабинет на Тверской входили с проверкой, я вставал из-за стола медленно, расправлял плечи и никогда не спешил заговорить первым.

Вот и теперь я набрал в грудь воздуху, сжал дрожащие пальцы в кулаки и заставил себя смотреть Хвощу прямо в переносицу.

— Родион Иванович, — начал я, выдерживая солидную паузу. — Произошла рабочая накладка при оценке...

На слове «накладка» горло сжало спазмом. Воздух вырвался со свистом, голос сорвался и пискнул по-петушиному. Я тут же закашлялся, согнувшись пополам, и боль под ребрами уколола с новой силой, так что в глазах потемнело.

Один из стражников — молодой, с рыжеватыми усами — не удержался и коротко фыркнул в кулак.

Хвощ не улыбнулся. Он только сдвинул густые брови, и над носом залегла складка.

— Накладка у него, — буркнул десятник. — Оценщик хренов.

Он отпихнул сапогом обгорелую доску, сажа поднялась облаком, и я снова зашелся кашлем. Хвощ наклонился, и тяжелая бляха на его поясе звякнула о доски. Толстыми пальцами он выудил из мешанины угля и спекшейся крошки кожаную бирку, обгоревшую с края.

Он повернул ее к свету из разбитого окна. На коже темнел оттиск — буква «Т» и подпись под ней мелкими буквами: «Гаврилов, поставки артефактной мелочи».

— Опять Тихон, — пробормотал Хвощ себе под нос. Он поднес бирку к лицу, понюхал и брезгливо швырнул кусок кожи обратно на угли. — Привез дрянь из Хованской Прорвы,

а ты, дурак тощий, печать не проверил. Несчастный случай при оценке товара. Жизнь тебя, Ремовской, ничему не учит.

Десятник потер переносицу большим и указательным пальцами.

Я молчал. В голове стучала одна фамилия: Тихон Гаврилов, скупщик. Значит, это он притащил в лавку штуковину, которая взорвалась в руках у прежнего хозяина. Из-за него у меня сейчас горело в груди и не слушались ноги. А кроме него — триста сорок рублей долга меняле Стельбицкому, разрушенный прилавок, разбитая дверь...

— Слушай меня сюда, Алексей, — Хвощ ткнул в мою сторону тупым концом бердыша. — В тюрьму я тебя сегодня не потащу — за грехи при оценке Приказ Дара сразу не сажает. Но даю тебе три дня.

— Сколько? — опять сипло вырвалось у меня.

— Три дня, — повторил десятник с нажимом. — Через три дня я лично приду с дьяком. Проверим, платит ли лавка налоги до последней полушки и не задолжал ли ты кому со скандалом. Онуфрий Стельбицкий с Ильинки уже все уши прожужжал, что твоя лавка по уши в долгах. Если за эти три дня не закроешь долги или лавку в порядок не приведешь — опечатаем все к чертям до полного разбирательства. И пойдешь на казенные работы шлак грести.

— Три дня... — пробормотал я.

— Три, — отрезал Хвощ. — И прилавок почини. Пахнет от тебя, как от горелого кота.

Он развернулся и пошел к выходу. Рыжий стражник еще раз усмехнулся, задев бердышом косяк, и все трое вышли на улицу. Дверь хлопнула так, что с уцелевшего косяка осыпалась сухая штукатурка. На улице кто-то пронзительно закричал, проехала тяжелая телега — окованное колесо громыхало по булыжнику, выбивая частую дробь.

Колени дрожали, а в груди при каждом глубоком вдохе будто скребли ржавым гвоздем. Я прижался спиной к уцелевшей части стены, подождал, пока немного осядет поднятая стражниками пыль, и медленно осмотрелся.

Витрины больше не было. На ее месте зияла рваная дыра, откуда тянуло сырым весенним сквозняком. Осколки толстого стекла перемешались на полу с сажей, углями и остатками каких-то сгоревших мочалок. Прилавок — дубовый, дедовский — раскололся пополам: правая половина превратилась в щепы, левая устояла, но обуглилась сверху. Полки вдоль стен опустели. Из всего товара, что тут хранился, уцелел едва ли десяток мелких вещиц: пара потемневших медных пряжек, костяной гребень, несколько сушеных корешков да какая-то глиняная дрянь.

Триста сорок рублей. Три дня.

В сорок один год я крутил миллионами и знал, как развалить сделку соперника одной вовремя пущенной сплетней. В семнадцать — стоял посреди пепелища с тридцатью копейками в кармане кафтана.

Я шаг за шагом обошел помещение. Сапог зацепил вывалившийся из стены кирпич, я чуть не упал и оперся о прилавок. Рука мгновенно измазалась в саже.

Нырнул под уцелевшую левую доску прилавка. Там, в глубокой нише, дед Геронтий держал скрытый ящик. Деревянная шкатулка из мореного дуба обгорела с одного угла, но замочек — простой, без магии — выдержал. Я ковырнул его ногтем, злясь на дрожащие пальцы. Металл поддался с сухим щелчком.

Внутри лежали бумаги. Я вытащил их и положил на обугленный прилавок. Сухие листочки, пожелтевшие по краям. Долговые расписки, договоры поставок, письма с корявыми сургучными печатями. На первом же листе — размашистый почерк менялы.

«Онуфрий Стельбицкий».

На втором — снова Стельбицкий. На третьем — заемная расписка под двадцать процентов годовых, заверенная дьяком, и опять его имя.

Я стал вглядываться в столбцы цифр. Считать в уме я умел мгновенно. Но сейчас глаза расплывались. Буквы ползли в стороны, в висках застучал тяжелый молот. Голова кружилась так сильно, что тетрадь со списками долгов начала заваливаться набок. Сумма внизу итоговой расписки — триста сорок рублей с полтиной.

— Черт, — сипло выдохнул я, зажмурившись.

Надо было перевести дыхание. Бумаги никуда не денутся.

Я отложил шкатулку, отошел на шаг и протянул руку к ближайшей уцелевшей полке. Пальцы нащупали круглый гладкий предмет. Это была глиняная бусина — серая, с обрывком суровой нитки в отверстии.

Я сжал ее на ладони, подкинул, взвешивая.

И тут кто-то нагнулся к самому уху и четко, без запинки проговорил:

«Глина обожженная. Примесь речного песка — двенадцать процентов. Остаточный фоновый след Стигмы слабой концентрации. Вес — четыре грамма. Рыночная цена — две копейки».

Я вздрогнул и вдруг увидел бусину изнутри — с трещинками, с капельками запекшейся магии.

— Что за... — прошептал я.

Пальцы разжались сами собой. Бусина выпала из ладони, стукнулась о деревянную половицу и со звонким стуком покатилась под прилавок, оставив на саже светлый след.

Я стоял, тяжело дыша, и по лбу катился холодный пот. В прошлой жизни никакой магии не было — спасательные вертолеты, котировки акций, Нефтеюганск. А тут что? Моя догадка? Или память тела прежнего пацана?

Я опустился на корточки, и колени отозвались резкой болью. Нащупал под прилавком бусину, вытянул её наружу, снова положил на ладонь и сжал пальцы.

Ничего.

Я затаил дыхание, попробовал позвать этот голос, представить цифры. В руке лежал холодный шероховатый шарик. Бусина как бусина. Две копейки ей цена — или даже одна, если брать пучком.

Я выпрямился, вытер мокрую от пота челку обугленным рукавом кафтана и швырнул бусину обратно на полку. Она стукнулась о стенку и замерла.

Неуправляемая дрянь.

Под ногами трещали угли. На прилавке лежала открытая шкатулка с долговыми бумагами Стельбицкого, а до прихода десятника Хвоща оставалось трое суток.

Тень перекрыла свет из выбитого дверного проема, в котором стоял тучный мужчина в поношенном купеческом кафтане не по размеру. Кафтан трещал на круглом животе, который незнакомец неторопливо поглаживал широкой ладонью. Лицо у него было одутловатое, нос в красных прожилках — видать, сосед не дурак выпить.

— Смотрю, живой? — состряпал он сочувственную физиономию, но глаза его не задержались на мне ни на секунду.

Они уже бегали по разгромленной лавке: с прилавка на полки, с полок на уцелевшие коробки в углу. Считал, паскуда.

Я узнал его не сразу. Симеон Кутафьин, из нижнего ряда. При деде он постоянно околачивался поблизости, вечно сыпал какими-то поговорками про «честную торговлю» и поглядывал на наш угол с затаенной завистью.

— Живой, Симеон Иванович, — сказал я. Голос снова сорвался петухом. В прошлой жизни я бы такого кабана одним взглядом на место поставил, а тут — дохлый мальчишка с обгоревшими рукавами.

— И слава богу, слава богу, — забормотал Кутафьин, переступая через обломки косяка. Его тяжелые сапоги хрустнули по разбитому стеклу. — А ведь как ахнуло! Я у себя на ряду чуть чайник не выронил. Думал, всё, сгорел Алешкин дом.

Он подошел ближе, будто хотел похлопать меня по плечу, но вовремя заметил сажу на моей щеке и убрал руку. Достал из рукава засаленный платок и начал усердно вытирать потный, лоснящийся лоб.

— Слушай, Алешка, — заговорил он тише, подавшись вперед. От него несло кислым вином и старым салом. — Дело-то твое дрянь. Лавку в порядок приводить — деньги нужны. А у тебя ж дедов долг на шее висит. Онуфрий Стельбицкий — он ведь человек жесткий, сам знаешь. Сменит гнев на милость? Ха! Он с живого не слезет, пока свои деньги не заберет. С процентами!

Онуфрий Стельбицкий. Вот, значит, как зовут нашего ростовщика.

Кутафьин тем временем небрежно ткнул пальцем в сторону уцелевших деревянных шкатулок на верхней полке:

— Ты парень молодой, не сообразишь сейчас. Стража придет, опечатает тут всё к чертям — и останешься ты на улице ни с чем. Давай так. По-соседски тебе помогу. Заберу остатки товара... Ну, скажем, за десятку. Наличными прямо сейчас. Облегчу тебе жизнь, хоть на хлеб будет, да и Стельбицкому какую копейку сунешь.

Десять рублей за весь уцелевший товар. И это при том, что один фоновый накопитель у деда стоил не меньше тридцати.

Я потянулся к прилавку, опираясь на деревянный край. Пальцы соскользнули по саже, и я качнулся, но всё же удержался. Тощее тело штормило от голода и боли в порезанных руках. Схема была старая как мир: сбить цену на панике, забрать товар за бесценок, а потом смотреть, как должник идет по миру.

— Товар не продается, Симеон Иванович, — сказал я, отчеканивая каждое слово.

Кутафьин замер с платком у лба и прищурился, будто впервые меня увидел.

— Чего? — переспросил он, поджав губы.

— Сказал: товар останется здесь. А вы, Симеон Иванович, отсюда поторопитесь. У меня уборка.

Он выпрямился, насколько позволял ему круглый живот. На лбу у него выступила новая капля пота.

— Ты что ж, оглох от взрыва? — голос его набрал силу, стал сиплым и злым. — Не одуплился еще? Тебе добра желают, дурак! Стельбицкий из тебя всю шкуру вытребует!

— С Онуфрием я сам разберусь.

— Ну-ну, — Кутафьин убрал платок в рукав, развернулся и шагнул к выходу, отпихнув сапогом обгоревший кусок лавки. — Посмотрю я на тебя, когда ты одуплишься. Вернусь скоро. Когда до тебя дойдет, что ты голодранец без гроша в кармане.

Он выскочил на улицу, даже не оглянувшись.

Руки чуть дрожали — то ли от злости, то ли от слабости этого чертова семнадцатилетнего тела. Я полез в карман и выудил два рубля сорок копеек мелочью — всё, что оставалось от кассы.

Три дня до проверки стражи, разъяренный сосед за стенкой, шкатулка чужих долгов и звон в чужой голове — а плана не было никакого.

# Глава 2. Вексель на дедово имя

В Зарядье только начали греметь засовами, а свет уже пробился сквозь пустой дверной проем и лег на засыпанные сажей половицы. За ночь в лавке выстудило, изо рта шел парок. Со двора слышно было, как сосед выливает помои и бранит собаку.

Сидел я у прилавка, прижавшись левым боком к обугленной стене. На глубоком вдохе под ребрами тупо кололо. Правую руку сломало в локте, она висела, и от нее дергало в плечо. Под нижней полкой завалялся кусок холстины, аршина в полтора, чистой хотя бы по краю. Кое-как я обмотал левую ладонь, зажав конец зубами и затянув узел на костяшках. Пальцы соскальзывали, кровь проступала сквозь нитки. Дважды я сползал на пол и утыкался лбом в половицы, пока в глазах не переставало темнеть. Мутило, и от одной мысли про еду подкатывало к горлу.

Двигался я вдоль стены медленно, цепляясь за что попало. Левая рука почти не слушалась, а сажа набилась под ногти. Все, что уцелело после взрыва, я перетаскивал на целую половину дубового прилавка, по одной вещи за раз.

Вышло немного. Пяток амулетов-оберегов из дешёвой жёлтой меди — кругляки с выдавленным узором, обгоревшие с одного бока. Три узких стеклянных флакона с мутной настойкой. Пробка на одном высохла, и оттуда тянуло кислым клоповником. Связка сушёных трав — пахло полынью и гарью. И четыре глиняные фигурки без клейма: два кривых козлика, свистулька и приземистый идольчик с отбитым ухом.

Всё это я разложил в ряд. В прошлой жизни такую кучу хлама не взяли бы и на барахолке за станцией.

— Ну давай, — сказал я сам себе. Голос вышел сиплый, чужой. — Включайся.

Первым я взял флакон с настойкой. Я сжал его в ладони, закрыл глаза и напрягся так, что застучало в висках. Вчера с глиняной бусиной вышло сразу — щёлкнуло, и сами собой встали вес и цена.

Ничего. В руке лежал обычный пузырёк с мутной жижей.

Вместо флакона я сгрёб с прилавка глиняного козлика. Считал трещинки на глине, давил пальцем на шершавый бок — ничего. На улице загремел черпаком водовоз, звякнула дужка ведра о бочку, кто-то крикнул на лошадь. До лавки никому не было дела.

Меня взяла злость. Я цапнул с прилавка потрескавшийся амулет с двумя синими стекляшками вместо глаз. Край у него потемнел от огня, одна стекляшка еле держалась.

Дышать я перестал и уставился на него.

И в голове потеплело. Без цифр и без слов, одно смутное чужое чувство: дороже, чем кажется.

— Сколько? — сипло спросил я в пустоту. — На сколько дороже?

Тепло ушло. Амулет я мял ещё долго, медь нагрелась от ладони, но больше ничего.

Амулет лёг обратно в ряд, а к себе я пододвинул деревянную шкатулку.

Смахнул сажу и стал читать бумаги медленно, слово за словом. Писал дед Геронтий коряво и размашисто, буквы путал, зато цифры выводил чётко, с нажимом.

Все расписки кончались одинаково. Сто рублей под покровские торги. Восемьдесят — на товар с той стороны реки. Шестьдесят два рубля сорок копеек — под залог лавки. И внизу каждого листа ровная подпись: «Онуфрий Стельбицкий».

Все деньги дед брал у одного человека. Ни гильдии, ни казны в бумагах не было. И на каждой расписке проценты шли на проценты.

За стеной у Кутафьина ругались: женщина кричала про разбитый горшок, а сам Кутафьин басом отговаривался.

Шкатулку я закрыл, защёлкнул латунный замочек и положил ладонь на крышку.

В дверном проёме кто-то заслонил свет, и ладонь со шкатулки я снять не успел. На пороге стоял сухой пожилой человек с поджатым ртом. Кафтан на нём был добротный, тёмно-синий, из тяжёлого сукна, но на локтях сукно вытерлось до серой нити, а края рукавов засалились. В руке он держал трость с костяным набалдашником.

Он не поздоровался, только сделал шаг внутрь и стукнул тростью по половице. Левой рукой вытащил из-за пазухи узкий свиток и развернул его.

Онуфрий Стельбицкий. Меняла с Ильинки.

— Триста сорок рублей серебром, — сказал он ровно, без выражения. — Взяты покойным Прохором на закупку товара из Хованщины и ремонт крыши.

Прохором? Чужая память упрямо отдавала дедом Геронтием, но в записях под крышкой шкатулки имена путались — переводы долгов, старые векселя, передачи от отца к сыну. Кажется, Прохор приходился деду старшим братом и пропал где-то под Калугой.

Стельбицкий не дал мне додумать.

— Сорок дней, — объявил он, глядя мимо меня. — Сорок дней на полную выплату серебром. Или на равноценный товар по моей личной оценке.

Набалдашник снова стукнул о доску — он отбивал слова, как счёты.

В прошлой жизни я знал: когда приходят с готовой претензией, обороняться нельзя. Надо говорить как равный и предлагать своё.

Я расправил плечи. Под ребрами кольнуло, правая рука в обгорелом шарфе заныла в локте. Я сжал зубы и заговорил. Вчера при Хвоще голос срывался на фальцет, а теперь вышел сухим и ровным.

— Сорок дней — срок невозможный, Онуфрий, — сказал я, глядя ему в переносицу. — Лавка разгромлена, витрины нет, товар сгорел весь. Долг я закрою, но в рассрочку. Треть — через три недели, ещё сорок рублей на каждую сотню — к концу второго месяца, остаток — после осенних торгов. Так лавка встанет на ноги, а ты получишь всю сумму без убытка.

Стельбицкий даже не шелохнулся, только чуть прищурил один глаз.

— Дед твой тоже говорил про осенние торги, — сказал он. — Года три говорил.

— Я не дед.

— Оно и видно. — Он повёл набалдашником по лавке: черные половицы, дыра на месте витрины, обломки. — Товару у тебя на два рубля, а разговору на две сотни.

Меня повело. В прошлой жизни человек с такой тростью сидел бы в приёмной и ждал, пока секретарь вынесет ему чай.

— Ты говоришь со мной как с мальчишкой на посылках, Онуфрий, — сказал я. — А по бумагам хозяин лавки я, и платить тебе буду я. Значит, и условия тебе обсуждать со мной.

— Плати, — сказал он. — Условия у меня одни.

За стеной у Кутафьина уронили что-то железное, и женский голос помянул чёрта.

Он вытащил из рукава плоский деревянный пенал, достал оттуда тонкий листок копии и костяное перо с уже набранными чернилами.

— Распишись на копии, Алексей, — сказал он тем же сухим голосом, будто и не слышал ничего про рассрочку. — Сорок дней. Срок пошел.

Левую руку я вытянул к перу, и пальцы затряслись — тощие, в порезах от стекла, черные от сажи.

Прижав ладонь к обугленной доске прилавка, я попытался вести ровно, но перо процарапало бумагу. Вышла черная ломаная черта с брызгами по краям.

Стельбицкий забрал листок, поглядел на подпись, потом на мои пальцы. Усмехнулся уголком рта, сложил листок вчетверо, убрал за пазуху и пошел к выходу.

Трость стукнула по половице. Он вышел не оглядываясь, и сапоги застучали по булыжникам. В проёме я успел увидеть, как он свернул вниз, к меняльному двору, хотя лавка его была на Ильинке.

Я остался стоять у прилавка, и левая рука все еще дрожала.

Отступая от расколотого дубового бруса, я цеплял сапогами осколки витрины, и ноги совсем не держали. Возле стойки валялся ящик — боковина у него выгорела, но донышко уцелело. Я сел на него осторожно, чтобы не тревожить левые рёбра. Каждое движение отзывалось болью в боку, а сломанная правая рука висела плетью и оттягивала суконный рукав.

На коленях лежал листок из шкатулки — дедовская заемная бумага со столбцами цифр и сургучным оттиском. Под чертой стоял итог, и он сходился с тем, что назвал меняла.

Цифры я перечитал дважды. Так, значит, потребуется рефинансирование. Короткий кредит под залог лавочного места, перекрыть долг Стельбицкому, а дальше перевыпустить вексель под меньший процент... Стоп. Да какой кредит, какой залог?

У меня не было счёта в банке. Ни юрлица, ни выписки из реестра, ни даже паспорта с пропиской. Для любого чиновника или менялы я был пацан без гроша с пепелища. Ни проверенных номеров в телефоне, ни связей в министерстве, ни Вадима, который перехватил бы пару миллионов до пятницы.

Рука сама пошла к бедру — туда, где последние пятнадцать лет лежал телефон. Позвонить. Набрать Толика, отдать команду, проверить курс юаня...

Пальцы ткнулись в драное сукно кафтана, но кармана там не было — только прожжённая дыра и липкая сажа.

Я замер и сжал кулак. В голове снова вспыхнул белый свет — как тогда, за секунду до удара.

Мне сорок один год, два высших образования, двадцать лет в торговле и трое конкурентов, которых я сжевал, а я сижу на обгорелой доске в чужом городе, в чужом костлявом теле, и мне не на что купить хлеба.

Сердце пошло вразнос, в глазах поплыли тёмные круги. Я прижал ладонь к груди.

«Хватит, — приказал я себе. — Сдохнешь прямо здесь. Хватит».

Опёршись о стену — от брёвен несло гарью и старой олифой, — я заставил себя подняться. Ноги дрожали, но удержали.

У порога, возле выбитой двери, стояло ведро. Вода в нём была мутная, поверху плавали чёрные хлопья сажи и щепа, на дне отстоялась серая грязь.

Я нагнулся — в боку резануло, — зачерпнул горстью воду и плеснул в лицо. Сажа потекла по подбородку. Я умылся ещё раз, протёр веки и скулы.

В расщепе дверного косяка застрял осколок зеркала — мутный, с тёмными пятнами по краям.

Из осколка смотрел мокрый бледный заморыш с ввалившимися щеками и тёмными испуганными глазами. Ни седины на висках, ни тяжёлых щёк — только узкие плечи под обгоревшим кафтаном.

Я вытер губы рукавом и громко сказал в пустую лавку:

— Геронтий Ремовской.

Голос сорвался. Я подождал, пока по улице прогрохочет телега, набрал воздуха и сказал снова:

— Алексей Ремовской.

И в третий раз — раздельно, по слову:

— Я — Алексей Ремовской.

Павел Шумихин остался в смятой кабине «Ми-8» на алтайском гольце. А тут — семнадцатилетний сирота, лавка в Зарядье, вексель на дедово имя и два дня до прихода стражи.

Дрожь в пальцах утихла. Я потянул суконный пояс, пытаясь затянуть его на дедовом кафтане. Сукно было жёсткое, кафтан висел на мне мешком. Правая рука не слушалась: в локте дёргало при каждом движении, и я взялся за пояс одной левой, прижал конец ремня

подбородком и с третьей попытки продел медный язычок в разношенную дырку. В боку под рёбрами дёрнуло так, что я согнулся и стал хватать ртом воздух, пока не переболело.

В кармане кафтана звякнула мелочь — два рубля сорок копеек, всё, что осталось от кассы.

Переступив через отвалившийся кусок косяка, я вышел на улицу Зарядья.

После полутьмы солнце резало глаза. Стоял обычный торговый гвалт, воняло конской мочой, прелой соломой и кислыми щами из харчевного ряда. Проехала телега под мокрой рогожей, окованное колесо ухнуло в выбоину, и грязная бурая вода брызнула мне на сапог. Я отшатнулся, задев плечом прохожего в сером армяке, тот буркнул что-то про «зеваку горелого» и пошел дальше. Из лавки напротив выскочил мальчишка в фартуке, заорал про свежую сельдь, но осекся, глянув на мой паленый кафтан и вымазанное сажей лицо, и отвернулся.

Я шёл вдоль деревянного настила, прижимая правую руку к животу. От запахов еды сводило пустой желудок: с утра в рот не попало ни крошки.

У лотка с пирогами, где на деревянном подносе дымились тощие ржаные кулебяки, толпился народ, и под ногами крутилась собака с рваным ухом. Я приостановился, нащупав в кармане медяшку: три копейки за пирог.

Пока я высматривал, какой пирог побольше да не подгорел с боку, баба в синем полинялом платке, подперев бока локтями, зычно перебивала торговку:

—...да говорю тебе, опять припозднились! Фрол-то Бахметьев со своими в Стигму ушел еще до Благовещения, и до сих пор ни слуху ни духу! Три дня уже лишних промышляют!

— Ну и что, что три дня? — огрызнулась торговка, с размаху заворачивая горячий пирог в промасленную тряпицу для какого-то деда. — Мало ли, застряли где на Хованской Прорве! Эка невидаль.

— А то невидаль, что сырье у мелких лавочников опять подскочит! — баба в платке сплюнула себе под ноги. — Муж вчера от нагульного ряда пришел, орет — мелкую искру уже по три рубля за золотник просят! Чем за квартиру платить будем, если Бахметьев опять поставку задержит? Артель у него, вишь ты, вольная, патента боярского не имеет, вот и крутит ценники как хочет!

— Так ты у боярских купи, — заржал стоявший рядом водовоз с пустым ведром. — Они тебе с патентом по пять рублей отвалят!

Баба махнула на него рукой и пошла дальше, ругаясь сама с собой. Собака с рваным ухом сунулась под лоток за упавшим куском теста, торговка пнула её валенком, и та, отбежав на три шага, снова села.

Рука с медяшкой замерла в кармане: Фрол Бахметьев, вольная артель, Хованская Прорва. Фрол Бахметьев, вольная артель, Хованская Прорва. Если артель задерживается в Стигме, сырье дорожает, а мелкие лавки в Зарядье начинают скидывать остатки или искать посредника подешевле. Что в Москве двадцать первого века, что тут — одно и то же.

Жрать хотелось зверски, но три копейки за ржаной пирог с визигой я пожалел. Вытащив руку из кармана, я побрел дальше, к скорняжным рядам.

У поста стражи двое мужиков стаскивали с подводы кадки и спорили, чья очередь в весовую. Стражник в зелёном кафтане слушал их, привалившись к столбу, и грыз семечки. Дальше уже пахло дублеными шкурами и тухлым жиром. Скорняк — кряжистый мужик с красной шеей — колотил деревянным молотом по натянутой на раму воловьей коже. Рядом его подмастерье, парень лет восемнадцати в засаленном кожаном фартуке поверх холщовой рубахи, соскабливал тупым ножом мездру. Пальцы у него были сплошь в мелких порезах, красные от холодной воды.

Я подошел ближе, стараясь не задеть правым локтем стойки навеса, от боли в боку кружилась голова.

— Эй, — позвал я. Голос все еще звучал сипло и срывался.

Подмастерье продолжал скоблить, только скосил на меня глаз:

— Чего надо, горелый? Хозяин только оптом берет. Мелочь не держим.

— Я не за шкурами, — я прислонился левым плечом к столбу. — Скажи, где Тихона Гаврилова найти? Из скупщиков он.

Подмастерье остановил нож, вытер измазанные жиром пальцы о фартук и повернулся ко мне:

— Гаврилова? — Он хмыкнул и сплюнул в опилки. — А тебе зачем? Долг пришел выбивать или сгоревший товар менять? Мы про твою лавку уже слышали. Говорят, у Ремовских склад к чертям взлетел. Хозяин мой аж три раза перекрестился, как услышал.

— Найти надо, — повторил я суше, чем собирался. — Дело к нему.

— Да какое с ним дело... — Подмастерье почесал за ухом, оставив на волосах сальный след. — Тихон складик держит на дальнем краю рынка, у выезда на Яузу, за лесными рядами. Только ты его там сейчас вряд ли застанешь, он по лавкам бегает, мелочевку свою пристраивает. С утра тут был, к нашему хозяину заходил, да не сговорились.

Он снова взялся за нож.

— Ты с ним осторожнее, Алешка, — сказал он, уже не глядя на меня. — Гаврилов-то мелким лавочникам артефактную дрянь возит, да только экономит на клеймах, паскуда. Печати защитные берет у беглых подмастерьев из Приказа Дара, а то и вовсе без клейма товар пускает, чтоб пошлину не платить. Оттого у него и дешевле. А потом у людей витрины вылетают да кафтаны горят. У сапожника в третьем ряду ларь так рвануло, что полдня сажу отскабливали.

Он со вкусом провел ножом по шкуре, снимая очередную желтую стружку.

Тихон Гаврилов. Склад на дальнем краю рынка, у выезда на Яузу.

Я кивнул подмастерью и медленно пошел вдоль скорняжных рам, нащупывая в кармане медяшки.

Солнце уже село за купеческие амбары, и от реки потянуло сырым холодом. Улица понемногу затихала, только за соседним забором долго и вздорно бранились из-за прокисшего кваса, да по мостовой гремела порожняя подвода.

Правый локоть ныл, под ребрами кололо, в затылке отдавался каждый шаг. По старой привычке я сунул правую руку в карман кафтана — нащупать телефон, глянуть время. Пальцы нашли дыру и две медяшки. Опять.

В лавке пахло горелым войлоком, сырой штукатуркой и остывшим углём. Окна совсем потемнели, но свечу я зажигать не стал. Сальные огарки тоже стоят денег.

Я опустился на колени перед разбитым прилавком. Доски хрустнули, в боку кольнуло так, что я затаил дыхание. На полу, в тени под уцелевшей стойкой, валялся дубовый ящик, в котором Гаврилов привёз товар. Боковую стенку выбило, дуб обуглился и растрескался по слоям, из щели торчала загнутая гвоздевая шляпка.

Если артефакт приехал в этом ящике, что-то от него должно было остаться. Не мог же он выгореть вчистую.

Левой рукой — правая почти не слушалась — я полез в серое месиво внутри ящика. Зола была мелкая и сухая, полезла под ногти, защекотала в носу. Я чихнул, и в боку стрельнуло. За стеной Кутафьин двигал что-то тяжёлое и покрикивал на работника: «Левей держи, левей!» — и стена подрагивала. Я отгреб верхний сгоревший слой. Под ним лежали спекшиеся мелкие угли и куски какого-то прогоревшего войлока, которым Гаврилов обкладывал товар при перевозке.

На глубине ладони пальцы наткнулись на тепло — ровное, как от печного кирпича через час после топки.

Пальцы сомкнулись на шершавом граненом куске. Я вытащил руку и поднес находку к окну, чтобы разглядеть получше.

Осколок был размером с грецкий орех, весь в копоти, с острыми неровными краями и неожиданно тяжелый. Я поворачивал его — грани цеплялись за кожу. И он грел ладонь.

Я вытер его об обгоревший рукав кафтана.

И в голове щелкнуло — само, без всяких формул и дедовских наук, как было с той глиняной бусиной. Ни цены, ни названия свойства. Только одно: это дорого. За такое подделывают вексель и выбивают двери.

Сердце заколотилось часто и больно, и пальцы сами сжались вокруг теплого осколка. Никому — ни Кутафьину с его десятирублевой подачкой, ни Стельбицкому с его тростью и тремястами сорока рублями. Пока я не пойму, что это за дрянь, сколько за неё дадут на меняльном дворе или у вольных охотников и как её продать, не подставив шею под Приказ Дара, — этот камень не увидит никто.

Я поднялся, тяжело опираясь левой рукой о край прилавка. Голова кружилась от голода, в животе давно и тоскливо урчало.

Возле стены стояла старая кирпичная печь с тяжелой чугунной заслонкой. Я выудил из-под прилавка кусок сухой ветоши — старый дедовский фартук, рваный по подолу, — и аккуратно, в два слоя, завернул теплый осколок.

Потянул за кольцо заслонки — она пошла с визгом. Внутри пахло старой сажей и сосновыми дровами. Я засунул сверток в самый дальний угол ниши, за кирпичный уступ, где его не нащупаешь, если не знать, куда лезть, и прижал заслонку обратно — стукнуло глухо. Для верности я подгреб к заслонке ведро с золой, что стояло тут же, и поставил сверху пустой мерный ковш — как оно и стояло при деде.

Я дошел до дедовой лежанки в углу за занавеской и, не снимая сапог, повалился на жесткие доски, накрыв плечи обгорелым кафтаном. На улице кто-то пьяный хохотал и звал не то Гришку, не то Мишку, потом хлопнула чужая калитка. Завтра надо было найти Тихона Гаврилова и узнать цену камня. До стражи оставалось два дня.

# Глава 3. Первая монета

С утра я не мог вздохнуть глубоко: под левыми рёбрами кололо. Правый локоть за ночь отёк, руку дёргало до самого плеча.

Сев на лежанке, я вытер лоб левой ладонью и пару минут смотрел на скомканный кафтан, в котором спал: от него несло вчерашней гарью, и выходить на улицу в палёном было нельзя.

В углу за занавеской стоял дедовский сундук — сосновый, в железных полосах. Замок на нём давно выломали, крышка держалась на одной петле. За стеной у Кутафьиных закашляли и хлопнули печной заслонкой.

Опираясь левым локтем о стену и прижимая больную руку к животу, я опустился на колени перед сундуком. Опускался долго, дважды замирая и ожидая, пока отпустит бок. Сверху в сундуке лежали какие-то драные рогожи, связка сушёных можжевеловых веток и овчинный тулуп, который моль проела до кожи. Я стал отгребать всё это одной левой, но пальцы сгибались с трудом. Из-под ногтей сыпалась сажа.

Со дна я вытащил дедову одежду — сюртук из грубого тёмно-синего сукна и стоптанные сапоги. Сюртук был весь в заломах, пах полынью и старым жиром, а воротник стоял колом. Голенища сапог сморщились гармошкой, на носке левого темнела круглая заплата на суровой нитке.

Натягивать всё это одной рукой на больные рёбра пришлось минут десять. Сюртук налез легко, но плечевые швы съехали куда-то к лопаткам, а рукава закрыли пальцы.

Там же, на дне, нашёлся узкий ремень с потёртой латунной пряжкой. Я обернул его вокруг талии дважды и затянул до упора, продев язычок в пробитое гвоздём отверстие. Рукава поддёрнул и подоткнул, чтобы не свисали ниже пальцев.

В дверном косяке всё так же торчал осколок мутного зеркала, и до него я добрался мелким шагом, потому что левый сапог жал в подъёме.

По старой привычке я расправил плечи, поднял подбородок и сдвинул брови. Так я заходил на совет директоров.

Из стекла на меня смотрел тощий мальчишка в чужой одежде: сюртук пузырился на спине складками, мешок на плечах, впалые щёки в саже, подвёрнутые рукава. Я невольно фыркнул.

— Да уж, — пробормотал я. — Солидный инвестор, ничего не скажешь. Костылев бы от хохота поперхнулся.

У печи я отодвинул заслонку и вытащил ведро с золой. За кирпичным уступом лежал дедов фартук. Я развернул его, достал тяжёлый закопчённый осколок, оторвал от старой суконной подкладки чистую тряпицу и завернул в неё находку. Завязав узлом и проверив пальцами, сунул за пазуху, под ремень.

Потом вернулся к дубовому прилавку. Потрогал глиняную свистульку с отбитым хвостом — хлам, а вот пару оберегов забрал, медные кругляки с выдавленным узором.

Обереги легли в боковой карман сюртука и звякнули о медные двухкопеечники.

За дверью прокричал петух, на улице заскрипели по мостовой колёса первой водовозной бочки.

Выдохнув через нос, я прижал правую руку к животу и перешагнул выбитый порог.

До рынка я тащился полчаса, хотя ходу там было минут десять. Правая рука в повязке при каждом шаге отдавала в плечо, а под рёбрами кололо, будто внутри застряла щепка. Приходилось останавливаться у столбов, притворяясь, будто разглядываю подводы с сеном, и переводить дыхание. Сюртук на спине мок от пота, а ноги мёрзли в тонких сапогах.

Лавку Акима Тюфякина я нашёл за рядами скобяного ломья. Заведение было тёмное, с низким потолком, и воняло в нём горелым маслом, кислым супом и прелой ветошью. На стене висели ржавые стремена и кованые цепи без замков.

Сам Тюфякин — лысеющий мужик с жидкой бородой — сидел на низком табурете у верстака. Правый глаз у него слезился, и он промакнул его костяшкой, а левым щурился через треснутое увеличительное стекло в латунной оправе и разглядывал медную солонку со сломанной ножкой. На блюдечке рядом остывал чай с плавающей в нём мухой.

— Закрывай дверь, дует, — буркнул он, не поворачивая головы и не вынимая лупы из глаза. — Ходят тут, холод напускают. Что надо?

Спорить я не стал: потянул тугую, в дёгте, дверную ручку, прижал засов и подошёл к прилавку.

— Дело есть, Аким Игнатьич, — сказал я.

Достав из-за пазухи узел с находкой, я развернул тряпицу прямо на засаленном верстаке и выложил рядом два медных оберега. Медь звякнула о деревяшку.

Тюфякин отложил солонку, но стекло из глаза не вынул, а ткнул скрюченным пальцем в медный кругляк, потом покрутил осколок — медленно, брезгливо.

— Медь горелая, ушко перетёрто, — проговорил он тонким, гундосым голосом, разглядывая осколок через лупу. — А камень... тьфу, шлак из-под печи. Тихон, поди, привёз? Он такое по рублю за пучок берёт. Тут и смотреть не на что.

— Смотри лучше, — отрезал я.

— Да чё смотреть-то? — Тюфякин откинулся на спинку табурета, и тот жалобно взвизгнул. — Два рубля за всё сразу. И то по знакомству с покойным Геронтием. Из уважения к возрасту. Возись потом с этой копотью...

Я закрыл глаза и медленно выдохнул. В Сургуте мне однажды так же спокойно предложили за партию станков вексель леспромхоза. Левой ладонью я упёрся в холодный край верстака и уставился на тёмный шершавый камень.

«Ну же, — приказал я сам себе. — Считай».

В прошлый раз, с глиняной бусиной, цифру мне будто выговорил в ухо чужой голос. Теперь же она встала прямо перед глазами, поверх лысины Тюфякина и его треснутой лупы: восемь рублей пятьдесят копеек. А этот жук даёт два за всё.

— Два рубля? — я усмехнулся и облокотился о прилавок. — Ты, Аким, меня с Кутафьиным не путай. Восемь рублей только за осколок, и это если я тороплюсь.

Лупа выпала у Тюфякина из глаза, звякнула о верстак и покатилась по крошкам сухарей.

— Скока?! — переспросил он, вылупив красные глаза. — Восемь?! Да ты сдурел, Алешка! Тебе от взрыва башку окончательно перекосило! Да я за восемь рублей на Прорве арбуз из накопителей куплю!

— Купи, — ответил я, оглядывая лавку. — Если доедешь и не сгинешь. А у меня готовый товар. И греет он без всякой заправки, сам потрогай.

Тюфякин руку к камню тянуть не стал — наоборот, спрятал её в рукав.

— Нынче сырьё подешевело, — забормотал он, сгребая со стола крошки засаленной тряпкой. — Бахметьев артель привёл, товар валом повалил, на Ильинке ценники упали...

— Бахметьев задерживается в Стигме, — перебил я его. — Третий день как должен был прийти, а его нет. Нагульный ряд уже по три рубля за золотник искру просит. Ты мне сказки про дешевизну не рассказывай.

Тюфякин поперхнулся и стал вытирать пальцы о фартук.

В углу, за стопкой дров, лежали три пухлых суконных тюка. Понизу ткани шла тёмная влажная полоса, от пола тянуло сыростью. Несло прелой травой, а правее витринное стекло пошло трещиной, прикрытой рогожей.

— К тому же, — добавил я, — у тебя самого лавка плывёт. В углу тюки мокнут, через день всё плесенью сожрёт. А витрина под рогожей треснула — стража придёт с проверкой, заставит менять. Деньги тебе нужны прямо сейчас, Аким. И чистый товар нужен. Это гнильё у тебя никто не возьмёт.

Тюфякин покраснел и зло стукнул костяшкой по верстаку.

— Ты мне тут не указывай! — зашипел он, подавшись вперёд. — Раскомандовался! У самого лавка сгорела, долгов по уши, а он ходит, чужие стены считает! Три рубля! И забирай свои пятаки!

— Семь, — ответил я. — И медные обереги отдаю в придачу. Без доплаты. Они у тебя на витрине аккурат трещину прикроют, если на нитку подвесить.

— Четыре! — взвизгнул скупщик. — И ни копейки больше! Пойди найди, кто тебе за эту копоть больше даст!

— Шесть, — я протянул левую руку, раскрыл ладонь в порезах и саже. — Шесть рублей серебром. И обереги твои. Или я иду к Вдовину на верхний ряд. Он про Бахметьева знает, он шесть с половиной даст не торгуясь.

Тюфякин замер, потёр лысину ладонью, поглядел на подмокшие тюки в углу, потом на камень, ещё тёплый.

— Разбойник, — прохрипел он, залезая в карман кафтана. — Дед твой тихий был, а ты... выскочка.

Он вытащил кожаный кошелёк, отвязал тугой ремешок и выложил на доску шесть тяжёлых серебряных монет. Первую монету я поднял двумя пальцами и попробовал на вес.

— Забирай, — буркнул Аким и сдвинул камень с медью себе под локоть. — И чтоб ноги твоей тут больше не было.

Серебро я сгрёб левой рукой, пересчитал пальцами и опустил в карман сюртука, поверх мелочи.

До лесных рядов я брёл дольше, чем рассчитывал. Каждая выбоина в настиле отдавалась в сломанном локте. Правая рука затекла в шарфе, а сапог на левой ноге натёр пятку. Мимо проехала подвода с сырыми брёвнами, заляпав сукно кафтана серой щепой. За рядами с тёсом дорога круто уходила вниз, к самой Яузе. Пахло гнилым речным илом и мокрой сосной.

Склад я нашёл у самого съезда к воде. Сруб из потемневших брёвен, осевший на левый бок, а над дверью криво прибитая доска: «Гаврилов. Артефактная мелочь оптом». Буква «Т» была выведена так же, как на обгоревшей бирке из моей лавки.

Засов поддался с третьего рывка. Дверь скрипнула и тяжело шаркнула по глинобитному полу.

Внутри было сумеречно и воняло дёгтем, палёным воском и конской попоной. Длинный верстак был завален ящиками с отбитыми крышками, за ним стоял немолодой мужчина. Поверх потёртой кожаной безрукавки на нём висел засаленный холщовый фартук. Мужик перебирал в лотке мелкие медные кольца. Левая рука у него была странная: указательный и средний пальцы срослись в один толстый, негнущийся рубец.

Услышав скрип двери, он поднял голову и открыл рот:

— Не привезли ещё из Прорвы, сказано же...

И осёкся на полуслове. Гаврилов уставился на мой палёный кафтан, на руку в подпалённом шарфе у меня на животе, потом — прямо в лицо. Загорелые щёки его посерели. Он подался назад, ухватившись за край верстака, и лоток в его руке звякнул.

— Алексей? — выдохнул он, почти не разжимая губ. — Ты... живой?

— Живой, Тихон, — сказал я, останавливаясь у входа. Под рёбрами кольнуло, когда я набрал воздуха. — Живой. Хотя ты, поди, думал, что меня уже на кладбище снесли.

Гаврилов сдёрнул с плеча край фартука и начал крутить его в кулаке. Пальцы у него при этом заметно дрожали.

— Ты чего это... ты чего, Алёша? — затянул он нараспев, с деревенским выговором. — Бог с тобой, Алёша... Слава Создателю, что цел! А лавка-то... слыхал я, да. Ахнуло у вас вчера. Я ж деду твоему по осени воск даром скинул, три пуда, спроси кого хочешь...

— Лавка сгорела, Тихон, — перебил я. — Витрина вдребезги, прилавок пополам, товара на три сотни в угли. И ладно товар — меня самого едва не убило.

Я сделал шаг вперёд, и сапог хрустнул по сухой стружке.

— Ты что мне привёз, Гаврилов? За что дед тебе деньги отдавал?

Тихон отвёл взгляд в угол склада, где стояли пустые кадки. Рука со сросшимися от шрама пальцами нервно мяла промасленный край фартука.

— Так товар-то проверенный был... — пробормотал он. — Я ж его у вольных брал, на Прорве... Случайность это, Алёша. Бывает такое с редкими вещицами-то. Оценка — дело тонкое. Оно и само рвануть может, если аура не улеглась...

— Какая аура? — Я подошёл вплотную и налёг на верстак левой, здоровой рукой. — Ты мне зубы не заговаривай. На ящике твоя бирка была. Рвануло, когда я печать осматривал. Она же развалилась от одного прикосновения! Ты компенсацию мне платить будешь? Чем я долг Стельбицкому закрывать должен?

Гаврилов замолчал, и глаза его прошлись по обгоревшим рукавам, задержались на саже у меня на шее, и он снова отвернулся к окну.

— Какая компенсация... — пробурчал он. — Нету денег, Алёша. Сами впритык сидим. Прорва не даёт товара, Бахметьев задерживается...

— Не три мне про Бахметьева, — отчеканил я. — Бахметьев на Прорве три дня лишних сидит, а товар ты мне привёз в прошлую среду. Откуда партию взял, Тихон? Где клеймо гильдии оценщиков?

При слове «клеймо» Гаврилов дёрнулся. Он выпустил фартук из рук, и тот шлёпнул его по ножнам на поясе.

— Какое клеймо... — пробормотал скупщик. — За клеймо гильдия по полтора рубля со штуки дрёт. Где ж такие деньги брать мелкой лавке?

— Значит, без клейма привёз? — Я наклонился ближе, чувствуя, как от него пахнет сырым табаком и перегаром. — Окольным путём шёл? Сэкономить решил?

— Ну, сэкономил немного... — Тихон отступил на шаг к задней двери склада. — Ну и что? Дед твой сам просил подешевле! «Привези, говорит, Тихон, что подешевле, а то Стельбицкий горло жрёт!» Я ж как лучше хотел! По дешёвке взял у охотников без патента, они божились, что печать свежая, только-только из Стигмы... А откуда я знал, что она плывёт?

Он поглядел на меня исподлобья и снова расправил фартук.

— Всё, Ремовской, — отрезал он. — Разговор окончен. Покупатель у меня у входа, некогда мне с тобой лясы точить. Иди отсюда. Денег не дам, нету у меня. И вины моей тут нет. Сам смотри, что в руки берёшь.

Он развернулся и ушёл в тёмную глубину склада, громко загремев пустой тарой.

Я остался стоять у верстака. Правую руку ломило, а левая ладонь под холстиной чесалась и горела. Денег он так и не дал. Но партия шла без гильдейской проверки, в обход Приказа Дара, и это он выговорил сам. Узнают Хвощ или дьяк — Гаврилову конец.

У двери я придавил ладонью карман сюртука, чтобы серебро не звякало на всю улицу. Уже на съезде мимо меня в гору проскочил босой мальчонка с зажатой в кулаке бумажкой. Куда его послали, я тогда даже не подумал.

Обратная дорога от Яузских ворот далась тяжело. Сапог цеплялся за каждый булыжник, и от каждого толчка под рёбрами кололо. Правая рука в шарфе тянула вниз, как мешок с песком. Левой я в кармане перебирал шесть кругляков серебра.

Когда до Нижнего ряда оставалось шагов тридцать, я притормозил около скобяной лавки.

У моего порога — прямо возле выбитой двери, за которой чернели обугленные полки, — стоял Симеон Кутафьин. Коренастый, в потрёпанном кафтане, он перекрывал весь проход. Стоя боком, он неторопливо поглаживал обеими ладонями свой круглый живот и что-то усердно втирал человеку в добротном суконном армяке.

Покупатель — мужик лет сорока, с бородой лопатой и в чистых сапогах — наклонялся и заглядывал через пустой витринный проём на остатки товара. В руках он держал кожаный кошель.

Под моим сапогом хрустнуло стекло на настиле.

Кутафьин повернул голову. Нос его в красных прожилках дёрнулся, глаза зацепились за мой палёный кафтан, и он тут же возвысил голос:

— Да что там разглядывать-то, уважаемый? — запел он, всплеснув руками и шагнув прямо между покупателем и дверью моей лавки. — У мальца там один угар да битые черепки! Вчерась так ахнуло — полквартала оглушило! У него ж всё равно через пару дней всё это с молотка пойдёт у Гостиного двора за дедовские векселя! Стельбицкий с него шкуру спустит! Чего добро-то переводить, время тратить? Пойдём ко мне, пойдём, мил человек! У меня товар чистый, от гильдейских оценщиков, с печатями! А тут одна горелая дрянь без клейма...

Покупатель перевёл взгляд с меня — сажа на щеках, рука на перевязи — на Кутафьина. Посмотрел на кошель у себя в руках, потом на дыру в моей витрине.

— С молотка, говоришь? — переспросил мужик, убирая кошель за пазуху.

— Как есть с молотка! — радостно подхватил Кутафьин, подгребая покупателя локтем. — Завтра стража придёт, опечатают всё к чертям! Пойдём, у меня и настойки свежие, и амулеты от сглаза...

Мужик ещё раз коротко скосился на меня, качнул головой и пошёл вслед за Кутафьиным.

Кровь ударила в виски. В той жизни за такой перехват на чужом пороге Симеона к вечеру выставили бы с рынка вместе с его настойками. Здесь у меня были больная рука, палёный кафтан и шесть рублей в кармане.

В трёх шагах от Кутафьина я встал и выпрямил спину — под рёбрами резануло так, что в глазах поплыли тёмные пятна. Смотрел я ему прямо в переносицу.

— Симеон Иванович, — проговорил я.

Голос вышел низкий и ровный, а ведь утром при Хвоще он срывался на писк.

Кутафьин уже заносил ногу над своим порогом, но от этого тона замер и медленно повернулся, насупившись.

— Чего тебе, Алёшка? — буркнул он, но уверенности в его басу поубавилось.

— Я смотрю, у тебя на собственном прилавке совсем дела тухлые, — сказал я, не повышая голоса, но так, чтобы покупатель у его двери приостановился. — Раз ты столько времени тратишь на чужой порог вместо своего. Ты бы за своим товаром лучше смотрел, Симеон. А то пока ты у моей двери зазывалой подрабатываешь, у тебя из лавки последнее разворуют.

Кутафьин открыл рот, набрал воздуха — и снова закрыл. Ухмылка осталась висеть на одутловатом лице, как приклеенная. Он неловко переступил с ноги на ногу и попятился к своей двери.

— Ты... ты как с большим разговариваешь, сопляк? — выдавил он.

— Как с соседом, — отрезал я и, не дожидаясь ответа, шагнул через свой выбитый порог внутрь полутёмной лавки.

Мужик уже нырнул к Кутафьину. Десяток рублей, а то и больше, ушёл сквозь пальцы, и вернуть их было нечем. Я прислонился спиной к прохладным брёвнам. За стеной Кутафьин зло и сбивчиво бубнил что-то своему покупателю, и от этого бубнежа мне стало легче.

В глубине лавки я опустился на сухой ящик. Спина гудела, в сломанной руке стучало, а в животе тяжело улёгся кусок рыбы из горячего пирога, на который я сдуру спустил тридцать копеек у лоточника на Варварке. На голодный желудок дела не делаются — так я себя и оправдал.

Всё, что было в кармане и в кассе, я выгреб на прилавок.

Шесть серебряных рублей от Тюфякина за вещицу из пепла да остаток мелкой меди. Всего вышло восемь рублей десять копеек, и я пересчитал их дважды, сдвигая монеты пальцем по доске.

На дверь и прилавок уйдёт рубль, может, полтора. Хвощ придёт завтра: не откроюсь — повесят замок и опечатают всё к чертям. Стельбицкий дал сорок дней, из них два прошло, так что оставалось тридцать восемь. А долгу на мне висело триста сорок рублей.

В дверном проёме кто-то встал и громко постучал по обгорелому косяку, так что я не успел сгрести деньги — только прикрыл их ладонью.

На пороге стоял мальчишка-посыльный Ванька. На нём был куцый армячок с оборванным подолом, из-под которого торчали тощие лодыжки. Ванька шмыгнул носом, утёр его засаленным рукавом и уставился на меня.

— Алёшка! — крикнул он. — Тебе из гильдейской избы. Староста велел лично в руки сдать.

— Давай сюда, — сказал я хрипло, голос всё ещё сипел.

Ванька переступил через разбитый косяк, покрутил головой, оглядел выжженные стены и протянул мне бумагу, сложенную конвертом. Сверху темнел сургучный оттиск — печать гильдии лавочников Зарядья.

Ванька не уходил, а стоял у прилавка, переминался с ноги на ногу и глядел на мою руку.

Сургуч я сломал большим пальцем, и крошки посыпались на обугленный брус.

Бумага была плотная и шершавая, писано скорописью, с длинными хвостами у букв. Я стал читать.

«Извещение лавочникам Нижнего ряда Зарядья. Сим объявляется, что через четырнадцать дней от сего числа на Гостином дворе состоятся открытые торги...»

Дальше шёл перечень лавок ряда, что закладывались меняльным дворам и теперь шли под молоток. «Лавка Ткачёва... лавка Селиванова... лавка Ремовской...»

Моя лавка. Спина стала мокрой.

Четырнадцать дней вместо сорока обещанных: ждать Стельбицкий не собирался и вексель уже отнёс в гильдейский суд.

Ванька вздохнул.

— Ну? — буркнул он. — На квас-то дашь, Алёшка? Я через весь ряд бежал.

Я не сразу сообразил, чего он хочет. Из кучки я выудил самую мелкую медяшку и бросил её на доску. Монета звякнула, и Ванька сгрёб её с ходу, засунул за щёку и выскочил на улицу.

Дверь за ним хлопнула, а записка из гильдии осталась лежать на прилавке поверх серебра. Один день до Хвоща, четырнадцать до торгов на Гостином дворе. Считать надо было заново.

# Глава 4. Опись по акту

Огарок свечи я достал из-под прилавка — он прилип к глиняному черепку. Сало пожелтело от старости. Огнивом я бил долго, искры сыпались мимо, и лишь потом фитиль занялся. Сало затрещало, и по лавке потянуло чадом.

Подсвечник искать было некогда: я прилепил свечу к обломку доски и пошёл вдоль стены. Обломок я держал в левой руке, а правую мне подвязали суконным шарфом к животу, и она ныла на каждом шагу. Пятку я стёр ещё у Яузских ворот и ступал на левую ногу осторожно.

Начал я с дубовой стойки у прилавка. Брус толщиной в два вершка раскололо вдоль волокон, щепа торчала во все стороны, и пахло гарью. Новый брус, сосновый, станет копеек в сорок, да ещё плотнику платить.

Дальше вдоль стены лежали три полки. Дед вешал их на кованые крючья, но два крюка вырвало вместе с глиной, на их месте темнели круглые дыры. Сами полки свалились друг на друга и раскололись посередине. Между досками белела стружка, в неё намешало зелёных и бурых осколков от витрины. Я нагнулся, чтобы разглядеть получше, но под левыми рёбрами резануло так, что потемнело в глазах. Я замер и переждал, пока боль отпустит.

У самого угла, где средняя полка ткнулась торцом в половицу, я посветил на пол.

На потемневших сосновых досках засохло бурое пятно. Края у него были неровные, а брызги уходили под ящик, который я так и не разобрал. Утром, в потёмках, я принял его за разлитый дёготь или лампадное масло. Теперь было видно, что это кровь.

Я постоял над пятном. От сального чада мутило, локоть ныл, а ржаной пирог, что я съел на Варварке, стоял комом под горлом.

Перешагнув пятно, я поставил дощечку со свечой на уцелевший край стойки и занялся товаром.

Собирать пришлось одной левой рукой. Из стружки и стеклянного крошева я выудил четыре глиняных «обереговых свистка» — кривые свистульки в виде уток, с нацарапанными на боках знаками. Один был с отбитым клювом, но остальные три оказались целы. Под обломком полки нашёлся моток заговорённой пряжи: грубую овечью шерсть вымачивали в дёгте. Сверху моток обгорел, а внутри остался сухим. И ещё три узких флакона без пробок, все пустые. На дне одного лежала сухая муха.

Всё это я стал раскладывать на единственной целой полке, что осталась висеть у печи.

Свистульки встали по росту, за ними лёг моток, а в хвосте — пузырьки. Так я когда-то выставлял на переговорном столе образцы моторного масла: этикеткой к покупателю.

Потом я повернулся и сунул левую руку в боковой карман.

Пальцы искали гладкий корпус смартфона. Хотелось сделать пару снимков остатков на складе, сбросить их в диалог с бухгалтером и подбить ведомость списываемого имущества. Большой палец сам пошёл к боковой кнопке.

Кармана не было. Пальцы ткнулись в жёсткое пыльное сукно дедовского кафтана.

Я замер с поднятой рукой. Ни сети, ни камеры, ни Вадима из юридического отдела — только копоть под ногтями и треск сальной свечи за спиной. Я медленно опустил руку и вытер пальцы о подол.

— Хватит, — пробормотал я. — Считать надо то, что есть.

За печной заслонкой было тихо. Сама заслонка — тяжёлый чугунный блин — сидела криво, не до конца закрывая устье. Утром я выгреб оттуда один осколок и снёс его Тюфякину — шесть рублей серебром, — но било-то взрывом из самой глубины печи.

Я подошёл ближе, опустился на правое колено — сапог опять больно сжал пятку — и запустил левую руку за чугунный край.

В глубине, за кирпичным уступом, где скопилась зола, пальцы нащупали тепло.

Камень чуть подрагивал под пальцами, и я выволок находку на свет.

Осколок оказался больше первого — с хороший кулак, тёмно-серый, со сглаженными взрывом гранями, тяжёлый и шершавый.

В голове не возникло ни цифр, ни названия камня. Зато левая ладонь под холстиной отозвалась ровным зудом.

Я вытащил из-за пазухи старую ветошь, обмотал камень в три слоя, стянул узлом и засунул глубоко за пояс, под дедовский ремень.

Про этот осколок не узнает никто. Ни гильдия лавочников с их торгами, ни Онуфрий Стельбицкий с его векселями, ни десятки из стражи. Если за мелкую щепку Тюфякин не сморгнув выложил шесть целковых, то этот кусок — мой запас на крайний случай.

Я поднялся, опираясь о печной бок, и снова посмотрел на уцелевшую полку.

Если продавать остатки товара оптом по бросовой цене — все эти свистки, пряжу и пустые флаконы, — выйдет рублей пятнадцать, в лучшем случае двадцатка. Торговлю на них не поднимешь. А Стельбицкому я должен триста сорок.

А завтра утром придёт десятский Хомутов.

Я оглядел лавку, пока огарок ещё горел: расколотая стойка, сорванные полки, дыра на месте витрины, бурое пятно на половицах и пустой дверной проём, из которого тянуло сырым холодом. Хомутов опечатает заведение в ту же минуту, и через три дня я пойду на казённые работы в кандалах.

Я отошёл от печи, и за выбитым проёмом стало совсем темно. На улице прогромыхала последняя подвода, где-то вдалеке прокричал сторож, и Зарядье затихло.

Единственный сальный огарок догорел, оплыл на край доски и погас. Свечей больше не было.

В углу за печью стоял дедовский топчан: четыре сосновых бруса, поверх драная дерюга. Я побрёл туда, еле переставляя ноги. Правая рука висела тяжело, локоть горел и распух под холстиной. Кое-как, помогая себе только левой, я отстегнул ремень. Узел с ещё тёплым камнем вынул из-за пояса и сунул в самый угол топчана, к стене, вместе с карманным серебром. Восемь рублей десять копеек — всё моё состояние.

Сапоги сдёрнул с трудом, зажимая задник левой ногой, и натёртая пятка саднела ещё долго. Сюртук снимать не стал: из дверного проёма дуло. Кафтан деда вытащил из угла и натянул сверху, пах он старым углём, полынью и кислым потом.

Я лёг на бок, поджав колени к груди, но бок прострелило так, что из глаз брызнули слёзы. Пришлось перевернуться на спину.

Тело было чужое и тощее, на вид лет пятнадцати, хоть по бумагам числилось семнадцать. Кости обтянуты тонкой кожей, рёбра выпирали. Порезы на плече дёргало, под холстиной чесались пальцы. Живот сводило судорогой: за весь день в нём был один ржаной пирог с визигой. В кишках громко урчало, сосало под ложечкой, руки от слабости било мелкой, противной дрожью.

В прошлой жизни в такие минуты я открывал ноутбук. Excel, синий свет в лицо, столбцы. Срок через две недели, говорите? Расписать по дням: реструктуризация, встречные иски, деньги под залог. Дисконт, проценты, риски.

— Ладно, — шепнул я в темноту. — Считаем. Долгу триста сорок. До торгов четырнадцать дней. Это по двадцать четыре рубля двадцать восемь копеек в день. Каждый день. Чистыми.

Я попробовал разложить это в таблицу — «Дата», «Приход», «Остаток», — и цифры расползлись. Их сносило то в темноту, то в свист ветра из проёма, то в распухший локоть. Ни ручки, ни листа.

А утром Хомутов переступит порог, глянет на дыру вместо витрины и повесит замок.

Боялся я в ту ночь собственного тела, а Стельбицкий с костяным набалдашником и гильдейские торги были дальше и меньше.

Оно не выдерживало. Голова ещё считала, блефовала перед Тюфякиным, выжимала монеты из Гаврилова, а тело сдавало раньше, чем я успевал что-нибудь придумать. Если к утру от руки пойдёт жар, вся моя хватка и оба диплома не будут стоить медяка. Просто сдохну на этом топчане.

Дрожь в пальцах усилилась. Я прижал бледную левую ладонь к животу и попытался затаить дыхание, чтобы не тревожить рёбра. За стеной Кутафьин один раз тяжело храпнул и затих.

Глаза слипались сами собой, и мне снился Алтай.

Низкие серые тучи, стук лопастей, вибрация пола в кабине «Ми-8». И сухой треск за бортом. Салон накренился, земля полетела навстречу. Я бился в кресле, пальцы рвали заклинивший замок ремня. Пристегнуться, пока не ударило! Ремень не поддавался, железный язычок выскальзывал из пальцев...

— Чёрт! — вырвалось из горла.

Я рванулся вверх, и левая рука с размаху рассекла воздух, а пальцы сжались, ища замок. Правый локоть отозвался такой болью, что в глазах вспыхнуло белым. Сердце колотилось, рот хватал воздух частыми глотками.

Несколько секунд я не понимал, где нахожусь. Кабина вертолёта? Кто я — Павел Геннадьевич Шумихин, сорок один год, председатель совета директоров? Или...

Пальцы левой руки наткнулись на сухую доску топчана. В нос ударил запах остывшей золы, горелого войлока и сырой штукатурки. За выбитой дверью в переулке протопала собака, шаркнув когтями по булыжнику.

Лавка. Угол за печью.

Я опустился обратно на дерюгу. Лоб был мокрый, и пот стекал по виску в ухо.

Павел Шумихин остался там, на Алтае. А здесь саднели порезы на плече, ломило локоть и зверски, до тошноты, хотелось есть. Хлеба в лавке не было.

До рассвета я лежал и слушал, а как только край неба за крышами просветлел и из переулка потянуло дымом, я поднялся. Каждое движение отзывалось тупой болью в локте и левом боку.

Монеты — тюфякинское серебро и медь — я выгреб из кармана сюртука на прилавок. Восемь рублей с гривенником. Семьдесят копеек отсчитал и зажал в ладони, а остаток сгрёб обратно за пояс.

В плотницкой через два дома, ближе к Нижнему ряду, с самого утра стучали: там топилась печь и пахло стружкой и олифой. Хозяин — кряжистый мужик в холщовой рубахе — выволок из сеней брус и бил обухом топора по клиньям. У верстака ждала баба с пустым ведром: плотник ей третий день обещал насадить коромысло и всё не насаживал.

— Здорово, дядька, — сказал я, останавливаясь у порога.

Плотник не бросил работу: загнал клин поглубже, вытер нос засаленным рукавом и только потом обернулся.

— Чего тебе, Ремовской? Слыхал я, рвануло у вас. Кутафьин орал на весь ряд, что у вас там одни головешки.

— Мне горбыля три обрезка надо, — сказал я, глядя на кучу лома у верстака. — И мешковины кусок. Витрину затянуть, чтоб пыль и холод не несло. Ну и гвоздей десяток.

Он оперся на топорище, покрутил усом и мотнул бородой в угол, где были свалены обрезки обзола, драная рогожа и пропревшие кули.

— Рубль двадцать, — прохрипел он, не глядя на меня. — За всё оптом. И сам отбирай.

В прошлой жизни за такую цену на отходы мой закупщик вылетел бы из кабинета без выходного пособия.

— Рубль двадцать за печные дрова? — я усмехнулся и ткнул носком сапога крайний горбыль. — Дядька, у тебя этот обзол под навесом второй год гниёт, вон синева по древесине пошла. А мешковина от мучных кулей, вся в дырах по шву. Ей и цена-то тридцать копеек, да и то если сам донесёшь.

— Не хочешь — не бери, — плотник повернулся к брусу и снова взялся за топор. — На Ильинке стеклянную раму купи. Рублей в пятнадцать обойдётся с подгонкой.

— Пятьдесят копеек за всё, — я выставил перед ним ладонь с медяками и двумя пятиалтынными. — И вынесу сам, тебе от топора отходить не надо. Или иду к мучникам за Яузу, у них кулей за бесценок полные амбары.

Плотник поглядел на монеты, потёр лысину и сплюнул в опилки.

— Семьдесят, — буркнул он. — И гвозди сам в ящике ищи, старые, из разобранных сараев. Ровных не дам.

— Семьдесят, — отрезал я и сдвинул монеты на верстак.

Семьдесят копеек из кассы ушли, и осталось семь рублей сорок копеек.

Доски я перетаскал в два захода, зажимая обрезки под левую руку. Правая висела вдоль тела и дёргала болью на каждом шаге, отзываясь до плеча. Мешковина воняла прелой мукой, но на разрыв держала.

Прибивать её одной рукой к расшатанному косяку было настоящее мучение. Доску я прижимал животом и больным локтем, а левой замахивался молотком, взятым у плотника под залог пятака.

*Дон!*

Молоток сорвался со шляпки и с маху пришёлся по костяшке указательного пальца. Я зашипел сквозь зубы и сунул палец в рот, а под кожей уже темнело.

— Чёрт, — сказал я в косяк и постоял так, пока не отпустило.

Второй раз я ушиб тот же палец, когда натягивал нижний край мешковины. Молоток я до этого держал в руках последний раз на школьном уроке труда, лет тридцать назад.

С третьей попытки гвоздь всё-таки вошёл в сосну, согнувшись крючком. Мешковина натянулась, и сквозняк по ногам сразу стих. Выглядело убого, зато лавку с улицы уже не было видно насквозь, да и внутрь больше не заглядывали.

Внутри стало темно, как в чулане. За стеной Кутафьин отчитывал работника за пролитый дёготь: считал вслух, во что тому встанет ведро, и обещал вычесть из платы. Работник молчал.

Я подошёл к прилавку. Полка под ним провисла: правый кронштейн вышибло взрывом. Подставив под неё третий горбыль вместо подпорки, я стал расставлять уцелевший хлам.

На край, куда сквозь щель у мешковины падал свет, я поставил глиняную свистульку и два пузырька с настойкой. Сушёную полынь разложил веером, прикрыв прожжённое пятно на дубе. Костяной гребень вытер об рукав и положил по центру. Потом отошёл к порогу и посмотрел, как это выглядит со входа: товара было мало, но обугленный угол он хоть как-то прикрывал.

Стекло с подгонкой и вставкой встало бы рублей в двенадцать-пятнадцать, а в кассе лежало семь рублей сорок копеек, так что о стекле думать было нечего.

За мешковиной тяжело зашагали. Ткань отдёрнули в сторону, и в лавку боком протиснулся десятский стражи Игнат Хомутов — тот самый, что вчера прибегал на шум взрыва и обещался вернуться с проверкой.

На нём был зелёный кафтан с помятыми полами, в правой руке — сложенный вдвое лист желтоватой бумаги. Здороваться Хомутов не стал: остановился у входа и оглядел мешковину на месте витрины, потом выжженный угол, где брёвна ещё чернели коркой. Под каблуком у него хрустнул невыметенный осколок стекла.

Двинулся он медленно, огибая прилавок: левая рука на поясе, а костяшкой правой он постукивал по медной бляхе на груди.

*Тук. Тук. Тук.*

В прошлой жизни я навидался таких визитёров — от пожарной инспекции до налоговой. Когда такой человек ходит по твоему помещению и молчит, он подсчитывает, сколько будет стоить его подпись.

Я выпрямился, и под рёбрами закололо, а сбитый палец дёрнуло болью.

— Доброго здоровья, Игнат Фомич, — сказал я первым, шагнув ему навстречу и вставая так, чтобы заслонить собой провисающую подпорку под полкой.

Голос от пыли вышел сиплый, но я говорил ровно, по-деловому, и не заводил жалоб, с которых тут обычно начинали разговор со стражей.

Хомутов замер, и палец на бляхе остановился. Он приподнял бровь и оглядел меня с головы до ног: тощий, в чужом дедовском сюртуке, локоть в холстине, подбородок в саже.

— Оживел, значит, Ремовской? — буркнул десятский, разворачивая листок. — А я у вас тут смотрю — дух палёный, окна нет, стенка прогорела. Вчерась так грохнуло, что у скорняка через два дома ушат с мездрой перевернулся. По закону гильдейского ряда лавку в таком виде держать не положено. Опасно для торговли, так что приказано опечатать до решения суда.

— Никакого решения суда не требуется, Игнат Фомич, — ровно ответил я, вытаскивая из внутреннего кармана сюртука сложенную копию векселя и гильдейское извещение. — Разгром я уберу к торгам. Взрыв вышел из бракованного артефакта, который подсунул скупщик Гаврилов. Партия была без гильдейского клейма, о чём я нынче же подам извещение дьяку.

Я положил бумаги на прилавок, расправив их левой ладонью. Десятский нахмурился, покосился на строчки и шевельнул губами.

— Витрину я заделал, — продолжал я, не давая ему вставить слово. — Помещение от сажи отчистил, товар на полках расставил, торговлю восстанавливаю. Вот извещение от гильдии — торги назначены через тринадцать дней. Вот вексель Онуфрия Стельбицкого. До срока торгов лавка имеет полное право работать, чтобы гасить текущие обязательства. Закрывать её сейчас — значит лишать кредитора возможности вернуть деньги, а гильдию — пошлины.

Хомутов слушал, отставив листок в сторону, потом отнял палец от бляхи, почесал за ухом и уставился на меня, будто впервые увидел. Потом подтянул вексель к себе, поднёс к самому носу, отодвинул на вытянутую руку и долго разбирал сумму, выведенную писцом Стельбицкого.

— Складно чешешь, — прохрипел десятский. — Складно... Откуда слово-то такое знаешь — «обязательства»? Дед научил перед смертью, что ль?

— Жизнь научила, — сказал я суше, чем хотел бы. Голос опять подсел, в горле першило от сухой древесной пыли. — Записывайте акт, Игнат Фомич. Лавка к торгу готова, нарушения устраняются.

Хомутов покрутил в руках перо, поглядел на мешковину, за которой гремели телеги, а потом на свистульки на прилавке.

— Ладно, — процедил он, прижав бумагу ладонью к прилавку. — Опечатывать сегодня не стану. Напишу отметку: «Нарушения устранить к сроку торгов гильдии». Тринадцать дней тебе, Ремовской. И опись по акту сам составишь: что цело, что побито, чего вовсе нет. Принесёшь в съезжую до субботы.

Он вывел на листе ломаную строку, подул на чернила и поднял на меня тяжёлый взгляд.

— Но предупреждаю сразу, Алексей, — сказал он. — Если к тому дню у тебя тут не будет порядка и серебра на выплату долга — приду с приставом и цепями. Вышвырнут тебя отсюда на мостовую в пять минут, а лавку заколотят наглухо. Понял?

— Понял, — кивнул я.

Десятский сложил листок, сунул его за пазуху и пошёл к выходу. На пороге, уже взявшись за край мешковины, он остановился и сказал, не оборачиваясь:

— И вот что ещё... Ты бы крутился побойчее, Ремовской. Люди Стельбицкого уже второй день по рядам ходят, про эту твою лавку спрашивают. Высматривают что-то.

Мешковина упала на место, и сапоги десятского застучали по булыжнику.

Левая рука сама сжалась в кулак, и ушибленный палец отозвался болью. Тринадцать дней — а по рядам уже спрашивают.

Шаги ещё стучали в конце переулка, когда мешковина снова дёрнулась.

В щель просунулась чумазая, в веснушках, физиономия посыльного Ваньки. Мальчишка шмыгнул носом, обтёр его рукавом наспех и заговорил, не переводя духа:

— Алёшка! Я в переулке за рыбным рядом чужого мужика видел! В добром таком кафтане, синем! Он там у зеленщицы спрашивал: «Давно ли помер старик-лавочник и кому теперь лавка достанется?» А ещё я его потом у меняльного двора видал! Он от Стельбицкого, у нас в Зарядье его всякий знает!

# Глава 5. Тропа к артели

Ванька переступал с ноги на ногу у дверного проёма, разглядывая мои стоптанные сапоги. В животе посасывало: пирог с визигой я съел с утра, и с тех пор во рту было кисло.

— На, — я выудил из засаленного кармана сюртука грош и ткнул его мальчишке в ладонь. Пальцы левой руки ныли, под ногтем указательного темнело. — Сядешь у порога. Пойдёт Хвощ или кто из меняльного двора — заорешь на весь ряд, будто тебя собака за пятку цапнула. Понял?

Ванька схватил медяк, огладил его большим пальцем и кивнул, обтирая нос о рукав:

— Понял, Алёшка. Так заору, что сам оглохнешь.

Я притянул дверь к рассохшемуся косяку, и петли взвизгнули, когда я опустил щеколду. Толку в ней было мало: нажми плечом — и выскочит из гнезда.

Левый сапог сдирал натёртую пятку при каждом шаге. Я шёл, чуть пригибаясь на левый бок, чтобы не тревожить рёбра. Полы дедовского кафтана пахли старым супом и копотью.

Мимо Кутафьиной лавки я прошёл, не поднимая головы: Симеон стоял у своего прилавка и счищал ножом грязь с деревянной лопаты.

За рядами со скобяным ломом воняло сушёной полынью, дёгтем и кислым квасом.

У прилавка травницы Матрёны стояла кадка с пучками зверобоя. Сама Матрёна — старуха в сбитом набок платке — перебирала мешочки с сухой крапивой. Рядом, под навесом из драной рогожи, сидел старьёвщик Прокоп. Перед ним на низком щите лежал всякий хлам: ржавые подковы, медные ручки, гнутые подсвечники и пара склянок с отбитыми горлышками.

У Прокопа переминался покупатель — мужик в холщовой рубахе со штопаным локтем. Мужик крутил в руках засаленный медный чайник без крышки.

— Три копейки ему цена, Прокоп! — гудел мужик, тыча пальцем в мятое брюхо чайника. — Носик-то капает, сам глянь!

— За три копейки я тебе от чайника только ушко отпилю, — хрипел Прокоп, не поднимая головы. — Пять копеек, и забирай. Мне его с Яузы тащить дороже встало.

Я подошёл ближе, делая вид, что разглядываю медные кольца, сваленные в деревянный лоток. Под рёбрами снова кольнуло, и я задержал дыхание, пока не отпустило.

— Здорово, Прокоп Игнатьич, — сказал я, опустив левую руку на край щита. — Как нынче сырьё с Прорвы? Ходит товар?

Прокоп оглядел меня одним глазом — второй затянуло бельмом.

— Какое сырьё, Алёшка? — пробурчал старик, сплюнув под ноги на опилки. — Охотники на Прорве совсем от рук отбились. Дерут за всякую дрянь по три шкуры, а привезёшь в город — половина искры не держит. Вон, у Матрёны спроси, она для настоек мелкий кристалл искала, так ей такую копоть подсунули, что кувшин лопнул.

Матрёна за своей кадкой вздохнула и перекрестилась:

— И не говори, Прокоп. Нынче верить никому нельзя. Раньше хоть с оценкой возили, с клеймом…

— А Тихон Гаврилов? — спросил я тихо, подавшись к Прокопу. — Он же к нам в ряд то и дело возит. Неужто и у него товар плывёт?

Прокоп хмыкнул, достал из кармана сухарь, бросил его в рот и стал не спеша жевать. Покупатель, так и не дождавшись скидки, поставил чайник на щит и поплёлся дальше по ряду.

— Тихон-то? — Прокоп огляделся, подошёл ближе к краю щита и снизил голос. — Гаврилов твой совсем страх потерял, Алёшка. Он последний месяц всё второй сорт возит. Из-под полы продаёт, втихую. Возьмёт у вольных артельщиков на Прорве отбраковку, на которую гильдия оценщиков полного клейма не ставит, и тащит в Зарядье.

— Без клейма? — переспросил я. — И берут?

— А отчего не брать, коли дешевле на треть? — вмешалась Матрёна, поправляя платок. — Купчишки мелкие да лавочники, у кого денег впритык, берут! Только Тихон с каждого слово берёт — мол, если что не так сработает или ахнет, к нему не ходить и в гильдию не жаловаться. Видели, дескать, что покупали, цена снижена за риск.

Я вытер лоб тыльной стороной здоровой ладони: сажа от вчерашнего пожара всё ещё держалась на коже, и пальцы пахли гарью. А за торговлю без полного клейма лавку не закрывают — отправляют в рудники.

— Прокоп Игнатьич, — я опёрся левым локтем о брус, глуша боль в боку. — А про брак этот никто больше не расспрашивал? Из начальства или из гильдейской избы?

Старьёвщик почесал редкую седую бороду, в которой застряла стружка, и забормотал ещё тише:

— А тебе заново зачесалось, Ремовской? Мало тебе того, что лавку спалило?

— Разузнать хочу, — ответил я. — Мне долги отдавать надо, а Гаврилов за тот артефакт, что у меня ахнул, вину на охотников валит.

— Да отвалит он, как же, — сплюнул Прокоп. — Недели две назад приходил тут один из гильдии оценщиков, в зелёном кафтане. Ходил по ряду, выпытывал: кто у Гаврилова неклеймёный товар берёт, да не было ли осечек. С книжкой записывал.

— И что? — я наклонился ближе. — Чем кончилось?

— Чем-чем... — Прокоп ухмыльнулся, показав жёлтые передние зубы. — Замяли дело. Тихон на следующий день к приказчику гильдейскому бегал, на Ильинку. По ряду шептались, что он тому сунул полсотни рублей серебром, не меньше. И зелёный кафтан тут больше не появлялся.

Матрёна у своей кадки покачала головой:

— Рука руку моет, Алёша. Ничего ты ему не докажешь.

Я поднял со щита гнутое медное кольцо, покрутил в пальцах и положил обратно.

— Спасибо за разговор, Прокоп Игнатьич, — сказал я, отступая от прилавка.

— Ты смотри, Алёшка, не лезь на рожон, — буркнул старьёвщик вслед. — Гаврилов мужик тёртый, с Прорвы не один пуд лиха вывез.

Я пошёл обратно по ряду, не отвечая.

К Ильинским воротам я добирался по грязи переулка. Левый сапог стёр пятку, правый локоть ныл на каждом шаге, а в животе урчало: с утра я съел один ржаной пирог.

Чайная у самих ворот оказалась из дешёвых — полуподвал с низкими сводами, где пахло сальными свечами, прелым сукном и кислым квасом. У дверей трактирщик наливал из медного самовара кипяток в щербатые кружки, а за дощатыми столами сидел разный люд: извозчики, яузские крючники, мелкие скупщики.

Фрола Бахметьева я заметил сразу, в самом дальнем углу у окна.

Он сидел один за длинным столом, огромный, в кожаном колете с зашитыми порезами на груди. Правый глаз его был затянут мутным белком, левым он смотрел в оловянную миску с разваренной полбой. Рядом на лавке лежал холщовый мешок, от которого пахло сырой землёй и горелой серой.

Я подошёл без оклика, сапогом отодвинул табурет и сел напротив. Под рёбрами кольнуло, и я упёрся левым локтем в засаленный стол.

Бахметьев не поднял головы, только ложка в его широкой ладони замерла.

— Места заняты, — прохрипел он, не глядя.

— Алексей Ремовской, — сказал я ровно. — Хозяин лавки у Нижнего ряда. Деда Геронтия помнишь?

Старшина медленно отложил ложку. Левым глазом он оглядел мой обгорелый сюртук, руку в шарфе, сажу под ногтями.

— Помню Геронтия, — проговорил он. Голос у него был густой, простуженный. — Дед твой тихо сидел, товара лишнего не просил. А ты чего припёрся? Лавка твоя, слышно, в угли пошла.

— Не в угли, а на ремонт, — отрезал я. — Дело у меня к тебе, Фрол. Хочу брать товар у твоей артели напрямик. Без Тихона Гаврилова и прочих перекупщиков, которые ломят три цены за неклеймёный брак. По честной цене и за живые деньги.

Бахметьев не ответил сразу: поднял руку с жирными пальцами, взялся за правый седой ус и стал крутить его, разглядывая меня с ног до головы. За соседним столом извозчики громко спорили из-за пролитого штофа, кто-то гаркнул на полового.

— Напрямик, значит, — пробормотал он. — Шустрый ты, Алёшка. Только лавка твоя — без имени и без гроша в кассе. Мои ребята в Стигмы ходят не для того, чтобы сопляку товар в долг отдавать. У меня на Прорве три человека со службы не вернулись, а ты мне голые обещания суёшь.

— Не в долг, — сказал я.

— А на что? — Бахметьев наклонился вперёд, и от его куртки пахнуло железной пылью. — На твои медяки? Гильдия последний год и так на вольных охотников косо смотрит, всё норовит нам разряд добычи урезать да к казне приписать, чтоб половину товара за медяки отдавали. Мне лишние глаза не нужны. А к тебе, сказывают, стража уже дважды за два дня приходила. Свяжешься с тобой — сам без патента останешься.

Слово «разряд» он выговорил со злостью.

— Стража приходила по акту осмотра, — ответил я. — Нарушений нет, лавка работает. Первая партия мне нужна небольшая — рублей на пятнадцать-двадцать. Но всю её я оплачу звонким серебром. Сразу, на руки, у моего прилавка.

Бахметьев снова шевельнул усом, и левый глаз его сузился.

— Откуда у тебя двадцать рублей серебром, хват? — усмехнулся он. — У тебя кафтан палёный.

— Мои деньги — моё дело. Через месяц артель вернётся с нового выхода — принеси пару кристаллов или накопитель средней руки. Не понравится цена или не будет серебра на доске — заберёшь товар и уйдёшь. Ни к чему тебя сейчас не обязываю. Проверишь моё слово — и всё.

Старшина молчал долго. За окном проехала подвода, и копыта застучали по булыжнику. Фрол посмотрел на свою миску с кашей, потом на мою перевязанную руку.

— Месяц, говоришь... — пробормотал он, сгребая со стола крошки хлеба в широкую ладонь. — Ладно. Будет путь через Нижний ряд — зайду взглянуть, что ты там открыл. Если будет на что смотреть. А за глаза никому про наш разговор не заикайся. Понял?

— Договорились, — сказал я.

Бахметьев взял ложку и снова уставился в миску.

Я поднялся со скамьи. Про урезание того самого разряда он сказал злее, чем про мои пустые карманы.

Выйдя из чайной на ветер, я поправил шарф на сломанном локте. Семи рублей сорока копеек в кармане всё ещё не хватало даже на четверть первой партии.

До лавки я добирался медленно, прижимая больную руку к животу и старательно наступая на носок левой ноги, чтобы меньше раздирать натёртую пятку. Сапог елозил по суконной портянке, полы дедовского кафтана хлопали по коленям, а из переулка несло кислым банным чадом и сырым речным илом.

У своего порога я потянул край мешковины, пролез внутрь и зацепил холстину за согнутый гвоздь. В лавке сразу стало темно и тихо, и только с улицы через дыру в рогоже пробивался узкий серый луч, в котором висели пылинки.

Я опустился на ящик у прилавка. Правый локоть под шарфом дёргало ровной, частой болью, а левый указательный палец — тот, что я утром пришиб молотком, — распух и посинел

у самого ногтя. Сгибаться он не хотел, и я прижал его к губам и глубоко выдохнул. Во рту остался вкус пыли и сажи. В животе снова заурчало: овсяный кисель из чайной провалился быстро.

Под нижней полкой, которую я утром подпёр горбылём, стоял глубокий сосновый лоток. Дед Геронтий сбрасывал туда всякую мелкую дрянь, выгребаемую из-под стеллажей: гнутые медные гвозди, обломки костяных гребней, треснутые стеклянные бусины, пуговицы и заскорузлые обрезки кожи. После взрыва туда же насыпалась штукатурка и мелкое стеклянное крошево.

Я подвинул лоток к себе здоровой левой рукой, упёрся локтем в колено и стал перебирать этот хлам.

Пальцы цепляли шероховатые черепки и сухие еловые иголки. Сначала попалась плюснутая латунная пуговица без ушка — я отложил её в сторону. Потом попались два обломка костяного шила, обгоревший кусочек воска и медная накладка от старого ларца, согнутая дугой. Чтобы собрать из этой мелочи хотя бы гривенник, надо было вычистить пять таких лотков.

На самом дне, под слоем древесной трухи и серой печной золы, пальцы наткнулись на что-то тяжёлое.

Я вытащил предмет на свет. Это была потемневшая от времени и копоти бронзовая пряжка — широкая, с толстым язычком и неровным литым узором по краю. Один угол был замазан спёкшейся зелёной грязью, а язычок заклинило в крайнем положении. Дед, видать, счёл её браком — то ли литьё пошло пузырями, то ли ремень в неё не пролезал, — и швырнул в хлам.

Я переложил пряжку на ладонь левой руки.

И тут же ладонь под холстиной откликнулась знакомым зудом. Кожу кололо, но на этот раз перед глазами не было ни цифр, ни букв — будто за мутным стеклом вспыхивал и гас слабый огонёк.

Зачарование в металле было целым — слабое, совсем простое — из тех, что держат тепло или чуть укрепляют сухую кожу ремня, — но совершенно невредимое. Бронза не сгорела при взрыве, её не повело от жара — она была просто грязной, с подтёками окисла и без клейма гильдейского оценщика. Без клейма её когда-то и списали в утиль.

В той, прежней жизни, в кабинете на Тверском бульваре, мне иногда приносили эскизы или подержанные швейцарские часы без документов. Я мог взять в руки хронограф, провести подушечкой пальца по фаске корпуса и сказать: «Это не Женева, это сборка из Гуанчжоу, вес корпуса на три грамма меньше». Но там работал двадцатилетний опыт, сотни сделок, насмотренность.

Здесь же я ничего не проверял и ни к чему не приглядывался — просто знал.

«Ладно, — шепнул я сам себе, вытирая пот со лба рукавом кафтана. — Разбираться со страхами будем потом. Сейчас нужно понять, сколько это стоит».

Я поднялся с ящика, подошёл к печи и вытащил из ведра увязанный узел со старыми тряпицами. Оторвал чистый сухой лоскут, макнул его прямо в седую печную золу у заслонки и вернулся к свету.

Шоркать по бронзе пришлось долго. Правая рука висела плетью, и прижимать пряжку приходилось к колену, придерживая её подолом кафтана. Ушибленный палец на левой руке при каждом нажатии отзывался острой болью, но я не останавливался. Зола со слюной въедалась в зелёный окисел, серый налёт сходил пластами, и под пальцами проступал густой, тускло-красноватый отблеск настоящей бронзы. Узор по краю оказался чистым: неглубокая плетёнка, вырезанная вручную.

Я дунул на металл. Зольная пыль разлетелась, и в полутьме лавки бронза тускло блеснула.

Такую вещь нельзя было отдавать местным бабам или мещанам с медяками за поясом. Покупатель из Зарядья присылает дочку за трёхкопеечной свистулькой или сушёной полынью,

а бронзу без клейма брать испугается — решит, что краденая. Нести её надо было тому, кто крутит товаром оптом: у кого есть и свой резчик, чтобы поставить клеймо, и свои скупщики у выезда из города. Гаврилов за такую дал бы полтора рубля и содрал три, а в артели Бахметьева или у мелких оптовиков из-за Яузы за неё выложат все два с половиной, чистым серебром.

Торговать из-под полы редкими артефактами — разовый куш, опасный и дёрганый. А сидеть на потоке хлама, вытягивать из него то, что хозяева выбросили в утиль, вычищать и отдавать оптом — это уже система.

Я сжал пряжку в левом кулаке и сунул глубоко в карман сюртука, к тюфякинскому серебру.

До скобяных рядов я добрался минут за пятнадцать. Левый сапог тёр стёртую пятку при каждом шаге, а под рёбрами от быстрой ходьбы снова заныло, но я не притормаживал — к Тюфякину нужно было успеть до полудня, пока он не убрался из лавки к лотошникам на Варварке.

В лавке Акима ничего не изменилось: всё так же пахло застоялым горелым маслом, кислыми щами и сырой ветошью. Сам хозяин сидел на своём табурете у верстака, наклонив лысину к железному замку со сломанной дужкой. Правый глаз у него опять слезился, а в левом торчала всё та же лупа в треснутой латунной оправе.

— Закрой засов, дует, — прогундосил он, даже не поднимая головы. — Ходят тут, ноги не вытирают... Что опять удумал, Алёшка? Я тебе за прошлый шлак и так лишнего отвалил, до сих пор локти кусаю.

— Дело есть, Аким Игнатьич, — сказал я, прижимая больную руку к животу и подходя к верстаку. — Находка оптовая.

Левой рукой я выудил из кармана сюртука очищенную бронзовую пряжку и положил её прямо на сухие крошки перед его носом. Металл глухо стукнул о доску.

Тюфякин замер. Треснутое стекло из глаза не выпало, но голова его медленно опустилась ниже. Он выпростал из промасленного рукава скрюченный указательный палец, ткнул пряжку в бок, покрутил её на столе, а потом взял двумя пальцами и поднёс к самому стеклу.

Ноготь его застучал по краю верстака — ровно, часто. Потом он поскрёб плетёный узор по краю, дунул на язычок и повернул пряжку к свету боком.

— Грязь одна, — заплакался он, не переставая стучать ногтем. — Медь с примесью, отливка топорная. И главное — где клеймо гильдии? Без клейма это не вещь, Алёша, а медь с воровского торга. Извещение не выпишешь, на Гостином дворе не выставишь. Приказ Дара за такую штуку живо за горло возьмёт.

— Узор ручной работы, Аким, — спокойно сказал я, опираясь левым локтем о край верстака. — И бронза чистая, без каверн. Твой резчик на неё гильдейское клеймо за десять минут посадит, и ты её на Верхнем ряду за шесть рублей скупщикам отдашь.

Тюфякин вынул лупу из глаза и положил на верстак.

— Шесть?! — вылупился он. — Да ты с ума сошёл! Рубль двадцать! И то из уважения к памяти Геронтия! Мне за неё ещё перед дьяком отдуваться, если спросит, откуда дрянь без бумаги взялась!

Усмешку я всё же удержал.

— Рубль двадцать — это цена за ржавый гвоздь, Аким, — сказал я, подавшись немного вперёд. — Спорить про клеймо я с тобой не стану. Давай свяжем сделку пакетом.

Ногтем он стучать перестал.

— Каким это ещё пакетом?

— Ты мне за пряжку даёшь честную цену, — продолжал я. — А взамен я беру у тебя вон ту стопку сосновых досок у стенки и ящик с коваными скобами для витрины. А ты мне на них даёшь скидку. Мне лавку ремонтировать надо — Хомутов тринадцать дней дал. А у тебя

доски в углу от сырости синевой пошли, всё равно через неделю выкинешь. Тебе выгода — спишешь неликвид и заберёшь бронзу, мне выгода — уйду с материалом и с деньгами.

Тюфякин замялся, и правый глаз у него снова заслезился, и он утёр его рукавом кафтана, переведя взгляд с пряжки на доски в углу.

— Доски сухие... — забормотал он уже без прежнего нажима. — Сосна смолянистая, по сорока копеек за штуку шла... А скобы кованые, цепкие...

— Синева по ним пошла, Аким, — перебил я. — Я сам видел. Через три дня они у тебя в труху сгниют.

Он покрутил в пальцах пряжку, снова постучал ногтем по верстаку — *тук, тук* — и тяжело вздохнул.

— Разбойник ты, Алёшка, — проворчал скупщик, лазя в глубокий карман кафтана за кошельком. — Спишь и видишь, как Акима без куска хлеба оставить. Три рубля пятьдесят копеек за пряжку. А за доски со скобами — рубль двадцать из этой суммы вычитаем. И забирай свой хлам, пока я не передумал.

— Три пятьдесят за пряжку серебром на руки, — отрезал я. — А за доски и скобы я тебе рубль двадцать отдам прямо из них. Чтобы в ведомостях всё чисто было.

Тюфякин посмотрел на меня, сплюнул на стружки под верстаком и развязал кожаный шнурок на кошельке.

Монеты он отсчитывал, звякая серебром о промасленную доску.

— Один целковый... два... три... да полтина...

Легли они стопкой, но отпускать их Тюфякин не торопился — держал сверху грязным большим пальцем.

— Ты бы, Алёша, с ремонтом-то не очень размахивался, — проговорил он тихо, оглянувшись на дверь. Голос его стал сухим, без прежнего гундосого наигрыша. — Мне тут нынче утренком меняла один с Ильинки сказывал... Знакомый мой, из третьей гильдии.

Я не стал тянуть руку к деньгам, только приподнял бровь.

— Ну?

— Онуфрий Стельбицкий про твой вексель по рядам удочку закидывает, — сказал он. — Тюфякин убрал палец с монет и вытер его о фартук. — Спрашивает у лавочников да у перекупщиков, не хочет ли кто скупить дедовский долг в триста сорок рублей со скидкой. За триста отдать готов, а может, и за двести восемьдесят, лишь бы живыми деньгами и сразу.

Под рёбрами кольнуло.

— Сам выбивать не хочет?

— Сам он возиться с тобой не желает, — Аким качнул головой. — Зачем ему тринадцать дней ждать да с гильдией судиться, если можно вексель продать какому-нибудь нетерпеливому? Купит его тот же Кутафьин или кто из боярских приказчиков — и придут к тебе не стражники с бумажкой, а вышибалы с дубинами. Понял ты, к чему дело клонится?

— Понял, — сказал я.

Серебро я сгрёб со стойки, пересчитал — — ровно три рубля пятьдесят копеек — и отсчитал обратно Тюфякину рубль двадцать за доски и связку кованых скоб, уложенных в рогожный мешок.

В кассе оставалось девять рублей семьдесят копеек.

# Глава 6. Улица делает счёт

Мешок с сосновыми обрезками и коваными скобами я взвалил на порог с третьей попытки. Правая рука под суконным шарфом отзывалась болью на каждое резкое движение, а под рёбрами заколoло так, что пришлось постоять у косяка, ловя ртом сырой воздух. Из переулка несло дымом печей, выгребной ямой и кислым суслом из пивнухи.

За перегородкой Симеон Кутафьин уже орал на мальчишку-помощника: тот опять пролил в сенях лампадное масло.

— Криворукий! — доносилось сквозь брёвна, и следом шлёпнул подзатыльник. — Три алтына из жалованья вычту! Слышишь, нет?! И марш метлой махать!

Я присел на корточки. Сапог натёр пятку ещё вчера, а за ночь портянка засохла коркой, и ладонью отжать задник выходило плохо. Левый указательный я отбил молотком тогда же: он посинел до ногтя и опух так, что не сгибался.

Сначала нужно было содрать вчерашнюю временную заплату из мешковины. Я загнал торец кованой скобы под шляпку согнутого гвоздя, навалился грудью на доску и потянул. Сосна хрустнула, гвоздь с противным скрипом вылез наполовину, застрял, и я зашипел сквозь зубы. Руки слабели уже после пяти минут работы. В прошлой жизни я бы просто вызвал завхоза или набрал бригадира отделочников. Восемьдесят тысяч рублей по безналичному расчёту — и через три часа витрина сверкала бы двухкамерным стеклопакетом. А здесь у меня в кармане лежало всего девять рублей семьдесят копеек.

Выдрав последние гвозди, я спустил заскорузлую рогожу на половицы. В лавку хлынул серый дневной свет.

Кусок старого оконного стекла я с вечера завернул в рваный дедовский фартук и сунул за печь. Выменял я его накануне у стекольщика с соседней улицы за двадцать копеек медью, да ещё пришлось уступить старую железную петлю от сундука. Стекло было мутноватое, с зелёным отливом по неровному краю, с пузырьками воздуха внутри, но целое.

Вытащив его на свет, я примерил кусок к правой секции деревянной рамы. По ширине он входил почти вровень, а сверху торчал зубчатый скол.

Я попытался упереть стекло в деревянный паз косяка, чтобы аккуратно отжать угол. Ладонь под холстиной вспотела, пальцы соскользнули по гладкому, и край стекла проехал по косяку и резанул по мякоти большого пальца.

— Чёрт! — вырвалось у меня.

Палец я сунул в рот, но разглядывать порез было некогда. Уперев стекло в раму снова, я надавил сильнее, чтобы загнать его в нижний паз. Стекло перекосило, и край прошёлся по ладони во второй раз, распустив кожу у основания указательного пальца.

Кровь капнула на подоконник и впиталась в сухую сосну.

Кусок я отбросил на рогожу, прижал руку к груди и застыл, стиснув зубы. Сердце колотилось где-то в горле, под рёбрами резало. В прошлой жизни такое решали нанятые люди, а Павел Шумихин подписывал акты приёмки.

Переведя дух, я оторвал зубами длинную полосу от снятой мешковины. Намотал её в три слоя на палец, стянул узел и снова нагнулся за стеклом.

На этот раз я брал его через подол кафтана. Протиснув нижнюю кромку в паз, я стал осторожно прижимать стекло скобами. Первую скобу пришлось забивать обухом плотницкого топора, придерживая железо локтем. Один раз топор сорвался, ободрав косяк, но со второй попытки скоба всё же вошла в сосну.

Стекло встало чуть криво, и вверху оставалась щель в полвершка, но держалось оно крепко.

Вторую половину витрины — ту, где брус прогорел до угля, — я зашил купленным у Тюфякина горбылём. Доски ложились внахлёст и пахли смолой, перебивая запах гари. Чтобы вбить последнюю скобу, мне пришлось упереться лбом в косяк и бить левой рукой снизу вверх, пока не заныло плечо.

К обеду я закончил. Выйдя на мостовую, я отошёл на противоположную сторону переулка, припадая на левую ногу, и повернулся к лавке.

Одно стекло блестело сероватым глянцем, отражая небо и вывеску напротив, второе было ровно забрано сосновой доской.

Мимо прошёл мещанин с корзиной сушёной рыбы. Он приостановился у двери, поглядел на новое стекло, потом на меня — тощий, в саже, рука в тряпке, — и снова на стекло.

— Оживаете помаленьку, Ремовской? — спросил он, прищурившись.

— Оживаем, — ответил я ровно.

За стеной Симеон Кутафьин высунулся из дверей, грохнул деревянным засовом и уставился на моё стекло. Нос его в красных прожилках дёрнулся, он было хотел что-то крикнуть, но передумал, плюнул под ноги на булыжник и шмыгнул обратно к себе.

Я постоял на булыжнике, вытирая со лба пот вместе с сажей тыльной стороной предплечья. Дверь Кутафьина скрипнула снова — будто он нарочно рвал её с петель.

Симеон вывалился на деревянный настил у своей лавки. Кафтан трещал у него под мышками, а лицо после обеда раскраснелось. Прежде чем открыть рот, он провёл ладонью по усам, разглаживая их к ушам.

— Вы глядите, люди добрые! — гаркнул он на весь переулок, обращаясь мимо меня к бабе с корзиной сушёной воблы и к водовозу, что притормозил у скобяного ряда. — Дощечкой дыру забил — и думает, лавочник! А что в той лавке-то осталось, кроме гари да копоти? Всё одно битый товар! Недаром она у него к чертям взорвалась! Покупать там — себе дороже, завтра у самого крыша слетит!

Водовоз приостановился, поправил лямку на плече и вылупился на мою новую витрину. Баба с рыбой тоже замешкалась, переводя взгляд с соснового горбыля на моё немытое лицо. Из скобяной лавки высунулся подмастерье в кожаном фартуке.

У меня загорелось под ложечкой. Первым делом захотелось поднять оброненный у косяка обрубок доски и врезать ему по красным усам. Но если сейчас переулок поверит Симеону, ко мне и те двое покупателей в день ходить перестанут, а до торгов всего девять дней, и долг сам себя не закроет.

Кричать я не стал, а сделал шаг вперёд, чувствуя, как левый сапог снова растёр пятку, и выпрямился, хотя под рёбрами тут же вступило.

— Симеон Игнатьич! — проговорил я громко и ровно, голосом, каким в прошлой жизни говорил с акционерами. — Чего зазря воздух сотрясать да прохожих пугать?

Кутафьин от неожиданности поперхнулся своей же прибауткой и замер с поднятой рукой у самого уса.

— Ты вот что, — продолжал я, оглядывая собравшихся у прилавков людей и говоря так, чтобы каждый слышал. — Заходи ко мне. Выбирай любую вещь на полке. Вон, при свидетелях предлагаю: бери, крути, оценивай прямо здесь, на мостовой. Найдёшь хоть один скрытый брак, хоть одну трещину или скол — отдаю вещь бесплатно. И всю лавку в придачу заберёшь, если докажешь, что товар опасен. А если вещь целая — извинишься перед рядом за пустозвонство.

Водовоз оскалился, показав жёлтые зубы, и опустил ведро на булыжник:

— О как! Давай, Симеон, иди выбирай! Бесплатно же даёт!

— Заходи, Игнатьич, не томи! — крикнул подмастерье в фартуке.

Кутафьин смешался, и красные прожилки на его носу налились ещё гуще. Он явно рассчитывал, что сопляк Ремовской либо спрячется за мешковину, либо начнёт сдуру орать и оправдываться. Он застучал костяшками по своему прилавку и попытался свести всё в шутку:

— Нужен мне твой хлам... Ещё пачкаться об сопляка... Я человек гильдейский, мне в головешках ковыряться не по чину!

— Боишься, значит? — подал голос мужик с клещами за поясом, посмеиваясь в бороду. Он подошёл к моей двери, поглядел сквозь чистое стекло на полку и ткнул пальцем: — А вон ту штуку покажи, Алёшка! Моток-то, с дёгтем! Горелый он или живой?

— Сейчас покажу, — сказал я.

Я повернулся и шагнул в лавку. Правую руку под шарфом дёрнуло болью, а распухший палец на левой прострелило, когда я потянулся к полке.

Моток заговорённой пряжи лежал вторым от края — овечья нить в дёгте, что нашлась в стружке. Сверху шерсть почернела от копоти, зато внутри моток остался плотным и тяжёлым.

Выйдя на свет, я положил его на левую ладонь, чтобы не давить на больной палец.

Под холстиной на ладони тут же вспыхнул знакомый тонкий зуд. Металла тут не было, но простая магия, вложенная в нить при вымачивании, отозывалась ровным, сухим теплом. Цифр перед глазами не выскочило — вещь была слишком дешёвой и бытовой, — но я и без системы видел всё насквозь.

— Глядите, — сказал я, показывая моток мужику с клещами и водовозу. — Шерсть овечья, простая. Снаружи от взрыва копоть схватила — вот, верхние нити обгорели. Но сам моток цел, внутри сухой. Заговор от сырости держится, нить не гнилая. Положить обратно или заберёшь?

Нахваливать я не стал и цену не набивал, а просто положил моток на край прилавка у входа.

Мужик потрогал нить, понюхал дёготь и крякнул:

— Дельная нить. На обувь в самый раз.

Народ усмехнулся, поглядывая на Кутафьина, а Симеон стоял у своего порога и молчал. Кричал он на всю улицу, а вышло, что народ собрался у моей полуразрушенной лавки, и подкрепить свои слова ему было нечем.

— Мальчишка с фокусами... — проворчал Кутафьин глухо. — Дед твой фокусничал, и ты туда же. Торгуй-торгуй, всё одно до субботы не протянешь!

Он повернулся, полы кафтана мазнули по настилу, и он ушёл в свою лавку, грохнув дверью так, что зазвенели склянки на витрине. Но перед тем бросил на меня такой взгляд — тяжёлый.

Зеваки постояли ещё немного, переговариваясь вполголоса. Мужик с клещами убрал моток пряжи в сумку, водовоз махнул рукой и покатил бочку дальше. Скоро переулок опустел, и я остался один перед своим стеклом.

Улица делает счёт быстро и вслух. Свой я держал в кармане.

Я опустился прямо на сосновый порог. Ноги подгибались, пятка в тесном сапоге горела. Локоть под шарфом дёргало, слева под рёбрами покалывало, когда я вдыхал глубже. Я прислонился затылком к рассохшемуся косяку и выпростал левую руку из кармана.

Пальцы — ушибленный указательный посинел и совсем не гнулся — выгребли на сукно кафтана всё моё состояние: серебряные рубли от Тюфякина, мелкие гривенники, потемневшие пятаки и медные гроши. Я стал раскладывать их горками на колене, помогая себе только большим и средним пальцами.

Девять рублей и семьдесят копеек.

Пятак прилип к сукну, я отковырнул его ногтем — и вместо мостовой увидел кабинет на Тверской. Гудит кондиционер, ручка в пальцах тяжёлая и дорогая. Звонок заместителю, подпись — и пошли контракты на пятьдесят миллионов. Тот Шумихин на эту горсть и не глянул бы.

Я сидел и смотрел на монеты на колене, пока не затекла спина. Сюртук воняет гарью, в боку колет, а кишки крутит с самого утра. Семнадцать лет, триста сорок рублей, девять дней.

Я сжал зубы, заставляя себя дышать ровно.

— Считай, — пробормотал я вслух, и голос вышел сиплым. — Говори цифры. Считай.

Я вытянул из горки на колене одну монету и стукнул её ребром о доску порога.

— Девять рублей семьдесят копеек. Было семь сорок. За пряжку три пятьдесят. Тюфякину рубль двадцать за сосну и скобы.

Серебро я переложил в правую горку и продолжил.

— До торга девять дней. Стельбицкому триста сорок.

Приход, расход, остаток — цифрам всё равно, кем я был и как саднит пятка.

Дышать стало легче. Пятка в сапоге горела, и я переставил ногу на сухое и стал прикидывать, чем занять эти девять дней.

Витрину надо доделать. Доски и скобы от Тюфякина стоят внутри, а мешковину на входе надо менять на щит, иначе Хомутов придёт с проверкой до субботы и придерётся к первой же щели. День работы, а скорее два, и ещё гвозди с замазкой — опять расход.

Теперь товар. Свистульки да сушёная полынь на полке — сущие копейки. Бахметьев обещал зайти через месяц, а запас нужен раньше. Гаврилова за горло брать пока без толку: клейма он не даёт, торгует отбраковкой, зато про его взятку в гильдию я помню, и на крайний случай это сгодится. Значит, искать мелкого поставщика или рыться в хламе на скобяном ряду — авось попадётся ещё пряжка.

Стельбицкий. Онуфрий ищет, кому спихнуть вексель за двести восемьдесят или триста. Купит Кутафьин или боярский приказчик — и девяти дней мне никто не даст, придут завтра. Надо выведать, у кого бумага.

Писчей бумаги у меня не было, а покупать её на такое дело было жалко.

Я поднялся с порога, придерживая монеты в кармане, и шагнул внутрь лавки. В углу у печи стояло ведро с золой, рядом валялись щепки, обгоревшие с одного конца ещё при вчерашнем пожаре. Из-под прилавка я выудил обрывок серой обёрточной бумаги, в которую дед когда-то заворачивал сушёные коренья. Бумага была мятая, в жирных пятнах, но с оборота чистая.

Я сел на ящик, положил бумагу на колено и взял обугленную щепку.

Уголь мазал широко и жирно, приходилось держать щепку почти стоймя. Я вывел криво, но разборчиво:

«1. Витрина — 2 дня.

2. Товар / Бахметьев — набрать 15–20 руб.

3. Вексель Стельбицкого — выведать покупателя.

4. Касса — 9 р. 70 к. Нужно — 340 р.»

Пальцы были в саже. Я положил щепку на край стойки, и палец прострелило до локтя, так что я подул на него и вытер руку о штанину.

План был паршивый и дырявый, но другого у меня всё равно не было. Я перечитал его сверху вниз, послюнил палец и подтёр кривую девятку в последней строке, вывел заново.

У порога затопали. Ванька, малец водовоза, сунул голову за мешковину — босой, штаны подвязаны верёвкой.

— Дядька Алёшка, посылать будешь? Я скорый.

Гвоздей у меня оставалось с горсть, а замазки не было вовсе. Я отсчитал ему два рубля серебром и велел взять в скобяном ряду фунт гвоздей, замазки на два окна и тёсу на щит, да торговаться до последнего.

Вернулся он скоро, приволок всё в рогоже и сдачи не принёс: сказал, тёс с пожаров подорожал. Проверять я не полез, дал ему медный грош, и обрадованный Ванька умчался, зажав монету в кулаке.

За мешковиной на входе темнело: солнце ушло за крыши Верхнего ряда, и в лавку потянуло вечерней сыростью. Палец подёргивало, под рёбрами глухо ныло.

Ткань на дверном проёме отдёрнули, и в лавку вошла мещанка Аграфена Лыкова. Я знал её в лицо — жила она неподалёку, у Пятницкого переулка. Она остановилась у порога, оглядела новое стекло, обугленную стену и меня в дедовском сюртуке. Правая рука её мяла край синей шали, комкала бахрому и отпускала.

— Живой, значит, Алексей? — спросила она, не подступая к прилавку. — А на рядах-то болтают, будто вас тут дотла сжёг злодейский артефакт.

— Живой, Аграфена Степановна, — я оперся локтем о дубовую стойку. — Товар уцелел, торгуем. Чего надо?

Она подошла к единственной целой полке, повела глазами по глиняным свистулькам.

— Младший у меня, Васька, третий день в жару, — она опять взялась за бахрому. — Ночами кричит, ногами сучит. Думала, оберег взять. Кутафьин за свой три рубля просит, да у него дрянь одна. У тебя что?

С полки я снял крайний свисток — глиняную уточку, знаки на которой были нацарапаны вкось. Ладонь под холстиной потянуло сухим теплом: знак слабый, но живой.

— От жара он не поможет, Аграфена Степановна, — я выложил утку на прилавок. — Такого заговора на нём нет, и врать не стану. А вот ночной плач и судороги в ногах он держит, если положить под подушку. Вещь честная, дедовская закупка. Четыре рубля.

Лыкова замерла, выпустив шаль: у соседей за полтину ей побожились бы, что уточка и мёртвого поднимет. Она пожевала губами, поглядела на меня цепко, потом выпростала из-за пазухи тряпичный кошелёк.

— Четыре, говоришь?. — переспросила она. — Ну, коли не врёшь, давай. За честность дам четыре, а обманешь — святой водой твои пороги залью.

Она отсчитала четыре серебряных рубля, выкладывая их по одному на дуб и каждый придавливая пальцем, а свисток спрятала под шаль и ушла, не прощаясь.

Едва мешковина за Лыковой опустилась, на пороге вырос мужчина. Кафтан на нём был доброго тёмного сукна, но на локтях заметно потёрся. Он стоял в проёме, перекладывая засаленную шапку из руки в руку, и всё никак не решался взглянуть мне прямо в глаза.

— Алексей Прохорович? — спросил он тихо, заискивая.

— Ремовской, — поправил я. — С чем пришли?

— Данила я... Сычов. От Тихона Гаврилова приказчик, — он снова переложил шапку, уставясь на мои стоптанные сапоги. — Хозяин прислал... за прошлую поставку расчёт спросить. Ну и узнать, нет ли каких претензий по товару... после вчерашнего.

Я выпрямился, но под рёбрами закололо, и я оперся ладонью о прилавок. Гаврилов сам не пошёл — послал приказчика: и деньги спросить, и поглядеть, чем тут пахнет.

— За поставку? — я шагнул ближе к прилавку, заглядывая Сычову в лицо. — А скажи-ка мне, Данила... хозяин твой тебе говорил, что на той партии полного клейма гильдии не было? И что товар шёл как отбраковка, без оценки?

Сычов побледнел. Пальцы на шапке замерли, и она сползла, повиснув в одной руке.

— Ч-что вы... — забормотал он, путаясь в словах и отступая к выходу. — Всё честно было! Хозяин... хозяин всё по закону возит! Какое клеймо... Я ничего не знаю!

— Знаешь, — сухо отрезал я. — И Гаврилов знает. Передай ему: пусть сам приходит за расчётом. А до тех пор про деньги пусть забудет.

Спорить приказчик не стал. Он шарахнулся назад, запутался полой кафтана в мешковине, рванул её и вышел на улицу, не сказав больше ни слова про расчёт.

Значит, Гаврилов сам за собой вину знает и Приказа боится. Иначе прислал бы кого-нибудь потолковее.

На улице совсем стемнело. Я заложил проём доской, накинул щеколду и вышел через заднюю калитку во двор, чтобы запереть засов на ночь. Правая рука горела, а палец чесался.

Четыре рубля за оберег легли в кассу, под нижнюю дощечку, к остальным. Одиннадцать рублей семьдесят копеек.

Я уже тянулся к засову, когда из темноты переулка меня окликнули:

— Ремовской!

Я обернулся, сжав левый кулак.

У калитки стоял Фрол Бахметьев. Колета своего кожаного он не надел — пришёл в сером армяке, какие носят по деревням, и в армяке этом казался ниже и шире.

Старшина артели за калитку заходить не стал, упёрся плечом в косяк и прохрипел:

— Поспрашивал я о мальце, кой лавку взорванную держит. Кое-что про тебя сказывают. Есть разговор, Алёшка. Только вести его лучше не на улице.

# Глава 7. Разговор не для улицы

Я приоткрыл заднюю калитку ровно настолько, чтобы Фрол мог протиснуться во двор. Он пролез боком, зацепив плечом столб, и от него пахнуло тиной и дёгтем. Засов я задвигал правой, налегая на него ладонью, потому что на левой руке указательный палец распух и не сгибался.

— Иди за мной, — шепнул я.

В левом сапоге при каждом шаге саднила сбитая пятка.

Мы прошли в заднюю комнату лавки — тесный чулан за печью, где дед Геронтий держал сосновые лотки и кадки с золой. В углу на перевёрнутой кадушке догорала сальная свеча. Едва Фрол переступил порог, я подошёл и прижал фитиль большим и средним пальцами левой руки. На пальцах остался горячий нагар.

— Ты чего это, Алёшка? — забормотал Фрол в темноте.

— У Кутафьина лавка через два дома, — проговорил я тихо, вытирая сажу о полы кафтана. Голос сел, потому что я с вечера не пил ни капли. — А окна его мезонина аккурат на наш двор смотрят. Увидит свет в чулане — сам прибежит смотреть или Хвощу донесёт. Садись вот на лоток и говори тихо, у самого уха.

В комнате остался только свет из щелей между горбылями на витрине.

Фрол не стал спорить. Он нащупал сапогом лоток у стены и сел на край, и сухие доски под его весом треснули. Старшина снял засаленную валяную шапку, взял её обеими руками за края и стал не спеша крутить, перебирая войлок короткими узловатыми пальцами. Правый глаз у него был затянут мутной белой плёнкой.

— Тяжело нынче в Прорве, — заговорил он не сразу, и голос у него был густой, простуженный. — Вода в разломе спала, так из нижней Стигмы дрянь всякая на суходол попёрла. Восемь мужиков у меня в артели всего и осталось. Было десять, да двоих под Хованским кряжем порождение смяло. Ходим в ближнюю Стигму, вытаскиваем всё, что вода вымывает: кристалл, кость артефактную, бронзу древнюю.

— А продавать кому? — Фрол сплюнул на земляной пол. — К казённым оценщикам пойдёшь — половину заберут в казну по своей цене, за медяки, да ещё пошлину сверху возьмут, так что сам голодный уйдёшь. Сдаём Мирону Хлыстову, скупщику с Яузского выезда.

— Почём берёт? — спросил я.

Я стоял, прислонившись левым локтем к бревенчатой стене, а правую руку, притянутую шарфом к животу, дёргало в локте, и я старался лишний раз не шевелиться.

— А сколько захочет, столько и даёт! — зло выдохнул Бахметьев. — Что скажет, то и бери, вот и весь торг. Принесёшь ему накопитель средней руки, а он покрутит носом и заорёт: «Брак! Жила выгорела, больше полтины не дам!» А как ту находку по правде оценить? У нас в артели дураков нет, да только в оценке никто не смыслит. Для моих мужиков что кристалл, что стекляшка с околицы — всё одно блестит. Вот и берём, что бросит на доску.

Он перестал крутить шапку, зажал её в кулаке и поднял на меня свой зрячий глаз.

— А нынче поутру на скобяном ряду бабы шептались, — продолжал Фрол. — Сказывали, малец из Ремовских — тощий, с подвязанной ручонкой — прямо на глазах у всего Зарядья приказчика Гаврилова умыл. Разглядел гнилой товар, который Тихон из-под полы толкал без клейма. Вот я и решил сам проверить. Дай, думаю, взгляну, правда ли паршивец подделку видит или в тот раз просто угадал.

Я слушал его и считал про себя, глядя в щель между горбылями.

Восемь охотников, ходят в ближнюю Стигму и сдают товар скупщику за полтину там, где вещь стоит три-четыре рубля...

— Сколько ходок в месяц делаете, Фрол? — спросил я тихо.

— Три, коли погода держит, — не спеша ответил старшина. — Четыре, если разлом не затопит.

— И сколько Хлыстов вам за одну ходку выкладывает серебром?

— Рублей на тридцать-сорок. На всю артель. После того как свою долю отрежет.

— А себе сколько оставляет? — Я шагнул ближе к ящику. — Почём он ваш товар дальше пускает — на Ильинке или у Яузских ворот?

Бахметьев замер. Пальцы разжались, шапка повисла между коленями.

— А кто ж его ведает, Алёшка? — пробурчал он, щурясь. — Моё дело — с Прорвы добычу вытащить да людей живыми вернуть. Его дело — сбыт. Наверное, вдвое дерёт. А может, и втрое.

«Какое втрое, — посчитал я про себя. — Если Хлыстов даёт тридцать рублей за партию неклеймёного сырья, на рынке она уходит рублей за сто. Отбрось его риск перед Приказом Дара — и всё равно остаётся шестьдесят с каждой ходки. С четырёх ходок — двести сорок рублей в месяц. И всё это — на чужом незнании».

Если я встану между артелью и скупщиками — оценщиком, за долю от продажи, — у меня будет прямой ход к сырью.

Я молчал. Голод крутил кишки, во рту пересохло.

Фрол подался вперёд, ящик под ним затрещал.

— Ты чего глазами-то закрутил, Алёшка? — прохрипел он. — Я тебе не девку на выданье расхваливаю, чтоб ты приценивался. Ты мне скажи: разбираешься в товаре или бабы у прилавков соврали?

— Бабы всегда врут, Фрол, — сказал я. — А товар — никогда.

— Значит, сможешь оценить, что мы выносим? Без Хлыстова?

— Смогу. Скажу цену до копейки. И скажу, где вещь настоящая, а где дрянь, за которую и медяк отдать жалко.

Бахметьев поднялся с ящика. Плечи его почти упирались в стеллажи, и пахло от него потом и печным чадом.

— Словом торговать каждый горазд, — сказал он, надвигая шапку на уши. — А у меня мужики на Прорве кровью умываются. Мне жалобщик не нужен, и советчик из лавки не нужен. Мне дело подавай.

Левый сапог снова жёг содранную пятку. Пообещать ему сейчас золотые горы — значит выдать свою нужду. У меня в кассе под доской лежат одиннадцать рублей и семьдесят копеек, лавку могут забрать через девять дней, а Фрол — человек пуганый и боярским патентам не верит.

— Торопить разговор не будем, Фрол, — сказал я, упёршись левой ладонью в брус. — Ты не жалобщик, а я не торгую обещаниями. Завтра или послезавтра принеси мне одну вещь. Из тех, что вы вынесли с последней ходки. Самую сомнительную — ту, за которую Хлыстов вам полтину сунул или вовсе брать отказался.

Бахметьев нахмурился:

— Зачем?

— Я её при тебе осмотрю и скажу цену. Если скажу дело — сядем и посчитаем договор для всей артели. Если ошибусь — уйдёшь к своему Хлыстову и больше меня не увидишь.

Старшина долго молчал, перекладывая шапку из руки в руку. Потом сузил единственный зрячий глаз и оглядел моё обгорелое плечо и шарф на сломанном локте.

— Один предмет, говоришь... — пробормотал он наконец. — Ладно. Это можно. Принесу из отбраковки.

— Приноси к задней калитке, — добавил я. — После заката. Чтобы соседские глаза не высматривали.

Фрол кивнул, повернулся, отодвинул засов на задней двери и вышел во двор.

Пришёл он на следующий вечер, уже в темноте.

В калитку стукнули трижды, костяшкой по доске. Я поднялся с ящика, прижимая правую руку в шарфе к животу. Левый сапог привычно резанул содранную пятку, а под рёбрами кольнуло, когда я потянулся к засову.

Фрол шагнул через порог, обдав меня холодом и запахом прелой кожи. У порога говорить не стал, а прошёл в темноту лавки, отодвинул сапогом деревянное ведро с золой и упёрся бёдрами в край прилавка.

— На, — Бахметьев выпростал из кармана серого армяка потемневший медный круг размером с крупную монету и бросил его на доску. — Из последней добычи вещь, из артельного раздела. Хлыстов — перекупщик на Яузе — глянул её утром, плюнул под ноги и сказал, что штука пустая. Мол, выдохлась в Прорве полностью, и дать за неё нечего, разве что на лом за грош. Врёт Хлыстов или правда твоя?

Оберег лежал на сосновой доске — тёмный, без единого гильдейского клейма. Край у него был неровный, отлитый на скорую руку.

Я протянул левую руку, но пальцы с трудом слушались: указательный посинел, раздулся в суставе после вчерашнего удара молотком и не гнулся, а большой палец, стянутый полосой мешковины, саднил от глубокого пореза. Я обхватил холодную медь ладонью.

В затылке тут же потянуло привычным усилием — будто тонкая жила натянулась от шеи к меди на ладони. Но с первого раза у меня ни черта не вышло.

Сальный огарок, вставленный в горлышко битой склянки, коптил тонкой чёрной струйкой. Руки за день озябли в нетопленой лавке, глаза слезились, а в желудке с обеда ничего не было, кроме воды из кадки. Перед глазами стояла серая муть.

Я молча положил оберег обратно на доску.

Фрол хмыкнул и переступил с ноги на ногу, и полы его армяка зашуршали по стружкам.

Я вытер лицо холстиной рукава, провёл ладонью по лбу и зажмурился. Потом набрал воздуха, держал его, пока под рёбрами не заныло, и снова взял медный диск, поднеся к самому язычку пламени.

Со второго раза натяжение в затылке не сорвалось, и в глазах прояснилось.

Медь была не мертва — в металле ещё уцелел слабый заряд. Заговор из самых простых, мужицких — «на прогрев ладоней в стужу». Если зашить такую вещь в рукавицу или держать в кармане кафтана, пальцы на морозе не закоченеют. Вещь грубая, но рабочая.

На рынке артефактов в Зарядье за такую штуку с лёту выложат рубля два, а то и все три серебром, если сказать покупателю правильное слово и приложить хоть какую бумажку из мещанской избы.

Я перевёл дух и поднял глаза на Бахметьева.

— Не пустая твоя вещь, Фрол, — сказал я, стараясь, чтобы голос не сипел. — Заряд в ней держится. Простой заговор, на прогрев ладоней в стужу. В лютый мороз рукавицу греть будет исправно. На Нижнем ряду за неё два рубля серебром дадут прямо сейчас, а если не спешить — и три выручишь. Соврал твой Хлыстов. Хотел он артельную добычу за бесценок сгрести.

Бахметьев не ответил сразу. Его единственный зрячий глаз округлился, щетина на щеке дёрнулась. Он наклонился, взял оберег с прилавка и стал поворачивать его к свету.

— Три рубля... — пробормотал он. — А Хлыстов мне в рожу смеялся. Говорил, выбрось в Яузу, чтоб карман не тянуло.

Он сжал диск в кулаке так, что побелели костяшки, и выпрямился. Поправил армяк и посмотрел на меня иначе, чем в дверях.

— Значит, не врут про тебя на рядах, — проговорил старшина тихо, упираясь локтями в прилавок. — Глаз у тебя верный, Ремовской.

Он ткнул обгоревшим ногтем в медный диск.

— Возьмёшься добычу нашей артели принимать? Напрямик. Вместо Хлыстова.

В животе у меня заурчало — овсяный кисель и утренний пирог давно вышли, осталась одна кислота. Под рёбрами слева снова резануло, и я упёрся здоровым локтем в прилавок, чтобы сбросить тяжесть со сломанной правой руки.

Вопрос был прямой, без купеческой раскачки. В прошлой жизни на такие заходы отвечали презентациями и туманом в цифрах — скрыть дыру в оборотке, набить цену перед инвестором.

— Возьмусь, — сказал я, глядя в его зрячий глаз. — Только скажу как есть. В кассе у меня сейчас одиннадцать рублей и семь гривен. Долг Стельбицкому — триста сорок рублей серебром. Торги через девять дней. Аванса я тебе дать не могу. Ни копейки вперёд не выгребу, потому что выгребать не из чего.

Бахметьев насупился, и мутный глаз его сузился. Он перевёл взгляд с моего немытого лица на сломанную руку в суконном шарфе, потом сгрёб медную пряжку со стола в ладонь и начал медленно подниматься со скамьи.

— Ну и о чём тогда говорить, Алёша? — хрипло пробурчал он, поворачиваясь к выходу. — Моим парням в Прорве порох покупать надо, хлеб да сапоги. Голыми обещаниями артель не накормишь. У Хлыстова хоть и грабёж, да деньги он выкладывал сразу.

Скамья под ним скрипнула. Кафтан его из сермяги пах сыростью, копотью и дёгтем.

— Постой, Фрол, — окликнул я.

Он замер, не поворачивая головы.

— У Хлыстова ты получаешь копейку от рубля, — сказал я. — Он твой товар забирает скопом, пишет в тетрадь что вздумается, а потом продаёт на Ильинке вчетверо дороже. Я аванса не дам, зато дам больше. Принёс вещь — я её при тебе на доске проверю, назову цену и отдам твою долю сразу, серебром. Без хлыстовских «как хозяин скажет» и без гильдейской усушки.

Фрол медленно развернулся.

За дверью проехала подвода — колёса глухо застучали по булыжнику, кто-то ругнулся на лошадь, и снова стало тихо, если не считать потрескивания фитиля. В левом сапоге пятку жгло: суконная портянка внутри сбилась в жёсткий комок, но перематывать её сейчас было некогда.

— Чем докажешь? — спросил старшина.

— Риском, — ответил я. — Рискнём оба, но помалу. Через три дня вечерком принеси мне не всю добычу, а пробную партию. Одно-два кольца или камень средней руки. На пять-семь рублей. Оценю, расплачусь из кассы на месте. Сработаемся — возьму следующую. Не расплачусь — заберёшь товар и пойдёшь обратно к своему Хлыстову. Потеряешь пару дней, не больше.

Бахметьев слушал, не двигаясь, а потом тяжело опустился обратно на скамью.

Он выпростал из рукава левую руку и стал медленно, с сильным нажимом тереть большим пальцем длинный белёсый шрам на запястье — старый след от когтя или ножа, и палец всё ходил по шраму взад-вперёд.

— Пробную, значит... — пробормотал он, уставившись на свечной нагар. — Семь рублей — это два мешка овса да пуд соли. В Прорве нынче туман стоит, искровые твари к самой меже подходят... Ребята за семь рублей рисковать не захотят.

— Зато за честный процент захотят, — возразил я. — Фрол, тебе Хлыстов за этот оберег пять копеек давал. Я отдаю два рубля. Посчитай сам.

Левый указательный палец под холстиной дёргало болью. Я осторожно переложил кисть на прилавок, подальше от свечи.

Фрол перестал тереть шрам и медленно поднял единственный зрячий глаз.

— Ладно, — проскрипел он и положил широкую ладонь на доску прилавка. — Условие одно, Ремовской. Поставишь хоть раз нечестную оценку, занизишь цену хотя бы на алтын или

затянешь с расчётом — артель разворачивается и уходит к Хлыстову. И больше ко мне с разговорами не подходи. Второй раз я к тебе не приду, хоть проси, хоть плати вдвое. Понял?

— Понял, — сказал я. — Договорились.

На краю прилавка, рядом со свечой, лежал второй медный оберег из дедовских запасов — круглая бляшка с выбитым крестом-свидетелем, потемневшая от сажи. Я подвинул его пальцем на середину доски, между мной и Фролом.

— При обереге-свидетеле, — произнёс Бахметьев старую формулу, не спуская с меня глаз. — Через три дня, как стемнеет. Принесу три предмета. Готовь серебро.

— Будет серебро, — ответил я.

Он поднялся, на этот раз уже окончательно, сунул свой медный диск в карман армяка и шагнул к выходу. Щеколда звякнула, рогожа качнулась, впустив сырой ночной воздух, и старшина ушёл в переулок, не оглянувшись.

Значит, теперь товар пойдёт ко мне мимо Гаврилова и Хлыстова. Вот только через три дня Фролу надо будет выложить серебро на стол, а в кассе у меня пусто, и вексель ждать не станет.

Я вздохнул, поморщился от боли под рёбрами и придавил фитиль пальцами. Фитиль обжёг подушечку, и я подошёл к двери, опустил дубовую задвижку — та вошла в гнёзда с глухим стуком — и только потом вернулся за прилавок.

На столе стоял пустой жестяной котелок. Ещё утром в нём была жидкая овсяная затируха, а теперь на дне подсохла лишь серая плёнка. Живот скрутило так, что я упёрся кулаком под ложечку.

На секунду перед глазами встал ресторан на Неглинной из той, прежней жизни. Мясо на решётке, перечный соус, тёплый хлеб в корзинке под салфеткой... Рот тут же залило слюной, и я зажмурился и мотнул головой, едва не задев подвязанной рукой угол прилавка.

— Забудь, — прошептал я себе под нос, вытирая губы тыльной стороной левой ладони. — Выбей из головы.

Я посмотрел на здоровые пальцы левой руки и начал загибать их по одному, отсчитывая дни. До торгов на Гостином дворе оставалось восемь дней. Восемь дней до того момента, как лавку продадут с молотка за триста сорок рублей дедовского долга.

И теперь ещё эти партии от Фрола.

Сделка на словах, без расписки и без задатка. Если Мирон Хлыстов — перекупщик, под которым сидит половина Хованской Прорвы, — пронюхает раньше времени, что Бахметьев носит товар мне в обход него, он быстро наступит старшине на горло: надавит через других охотников артели, перекроет им сбыт или откажет в крупе на зиму. А если пробная партия через три дня окажется бракованной или совсем мелкой? Тогда три дня улетят впустую, до торгов останется всего пять, а денег в кассе так и не прибавится.

Нужно было прямо сейчас перебрать по памяти цены на артефакты низкого ранга, которые я видел в рядах и у Тюфякина за последние недели. Чтобы при Бахметьеве, когда он принесёт вещи, не сбиться и не назвать цену наугад.

Я зажмурился, пытаясь сверить цифры. Голова гудела, мысли сбивались и цеплялись за всякую дрянь — за трещину на котелке, за запах золы. Простая бытовая вещица с лёгким заговором... сколько за неё давал Аким? Два рубля? Нет, полтора. А накопитель низкой искры? Я запутался, на мгновение решил, что он стоит три рубля, но тут же поправил сам себя: три рубля — это с гильдейским клеймом, а без клейма выше двух с половиной никто в здравом уме не выложит.

Пришлось заставить себя открыть глаза, сделать глубокий вдох — под рёбрами привычно резануло — и начать заново.

Со второй попытки цифры встали на место. Низкий ранг, вроде того оберега Лыковой или простых бытовых пластин: от рубля до двух с половиной за штуку серебром на руки охот-

нику. Мелкие накопители без трещин — от четырёх до шести рублей, если искра держится ровно. Значит, если Фрол принесёт три предмета, мне потребуется минимум пятнадцать рублей, чтобы расплатиться и завязать поставку. А в кассе — одиннадцать рублей и семьдесят копеек.

Гаврилов, небось, в этот вечер тоже не спал. После того как его приказчик Данила Сычов убрался отсюда с поджатым хвостом, Тихон наверняка помчался сбывать остаток той бракованной партии кому-то из мелких лавочников в Гончарной слободе. Лишь бы покрыть убытки и избавиться от дряни до того, как гильдия начнёт копать.

Свеча оплыла, фитиль утонул в жидком сале и погас, коротко зашипев.

Сон пришёл не сразу. Пятка в сапоге горела, распухший указательный палец подёргивало, локоть под шарфом ныл при каждом движении. А голова всё считала, когда глаза уже слипались: одиннадцать-семьдесят... триста сорок... три дня... восемь дней...

Заснул я прямо за прилавком, положив голову на левый локоть — тот, что не ныл, — так и не решив, стоило ли соглашаться с Бахметьевым без единой бумаги.

Едва рассвело и серый свет только пробился сквозь щели горбылей на витрине, как в дверной косяк кто-то ударил. Не кулаком — железом, коротко и зло, три раза.

Не дожидаясь ответа, щеколду снаружи рванули, и дверь подалась внутрь, скребя по полу нижним углом.

На пороге стоял гильдейский смотритель Прохор Аниськин. В одной руке он держал трость с железным наконечником, которой только что и лупил в косяк, в другой — свиток, и ногтем поддевал на нём завязку под сургучом.

— Вылезай, Ремовской! — крикнул он, не переступая порога и щурясь в полутьму лавки. — По жалобе соседа твоего, Симеона Кутафьина, открыто разбирательство! Поднимайся, разговор не для улицы!

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.